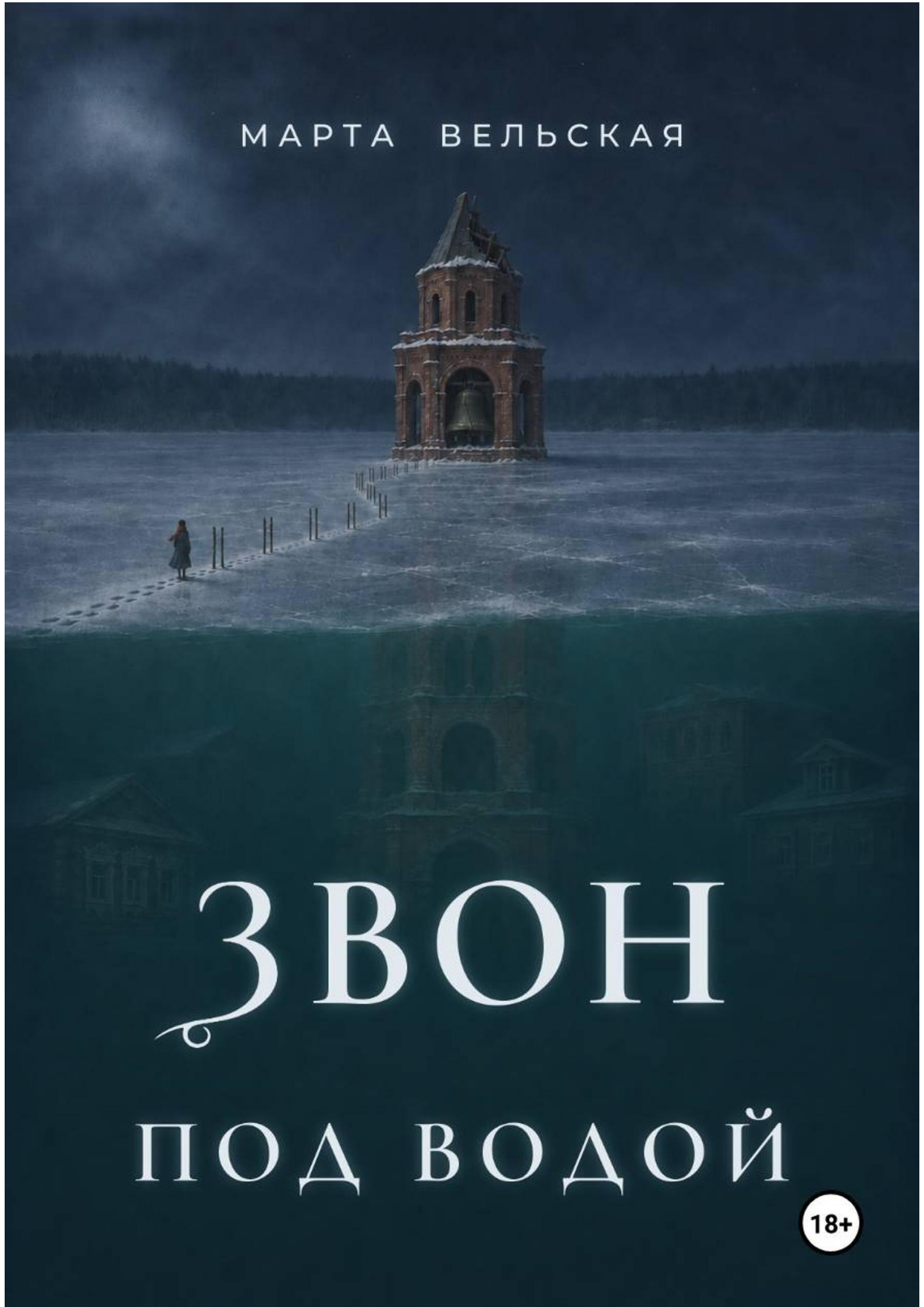
МАРТА ВЕЛЬСКАЯ



# ЗВОН ПОД ВОДОЙ

18+

Марта Вельская

# Звон под водой

«Автор»
2026

**Вельская М.**

Звон под водой / М. Вельская — «Автор», 2026

В 03:12 сестра прислала Асе голосовое с колокольни посреди замёрзшего водохранилища: «Не пугайся, я на колокольне слушай, как он звучит». Ася его проспала. Утром Лиды уже не было: тонкий лёд, несчастный случай, «сама».Через два года Ася поступает в ту же академию — крошечный филологический вуз на острове, под которым лежит затопленный город колокольных литейщиков. Здесь учат читать старые рукописи, ректор помнит всех по именам, закрытое общество Звонарей хранит свою азбуку, а внук основателя знает о той ночи больше, чем говорит. В первую ночь ледостава под лёд уходит ещё один студент, и в стороне от вешек на льду остаются лишние лунки.Ася начинает с того, чему её учат: с почерка, дат и опечаток. Но в этой академии бумага помнит всё, а лёд у колена дамбы умеет врать. А Глухарь, колокол на затопленной колокольне, иногда звонит сам.Детектив в декорациях тёмной академии — о сёстрах, вине выживших и правде, которую нельзя держать в залоге.

© Вельская М., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1. Двенадцать минут четвёртого 5
Глава 2. Звонец и Звонецк 11
Глава 3. Дом у затона 17
Глава 4. Тот, кого она звала 23
Глава 5. Азбука для колокола 29
Глава 6. Охранная грамота 35
Конец ознакомительного фрагмента. 39

# Марта Вельская
# Звон под водой

## Глава 1. Двенадцать минут четвёртого

В последний раз сестра звонила мне в двенадцать минут четвёртого ночи, а я этот звонок проспала.

С тех пор я не проспала ничего. За год и девять месяцев я ни разу не опоздала ни на смену, ни к маминой таблетке, а будильников у меня стояло три, с разными мелодиями. Первого сентября я проснулась в половине пятого без единого из них и села на шестичасовой автобус до Брода.

Катер к Острову отходил в одиннадцать. Он назывался «Сокол», и название кто-то вывел на борту белой краской от руки, причём хвост у «л» уехал вниз, будто художника толкнули под локоть. Я стояла у сходни с рюкзаком и маминым клетчатым чемоданом, у которого не крутилось одно колесо.

Перевозчик сверял нас по листку, не поднимая глаз. Он был невысокий и сухой, лет шестидесяти с лишним, в брезентовой куртке, с распухшими костяшками пальцев. Шестеро первокурсников называли фамилии бодро, он ставил галочки и говорил «проходи». На моей фамилии карандаш остановился.

— Ремезова? — переспросил он.

— Ремезова, — сказала я.

Он посмотрел на меня впервые за всё время, так долго, что парень за моей спиной кашлянул. Потом поставил галочку и сказал «проходи», как всем.

Водохранилище за Бродом раскрылось, широкое и серое, с далёким берегом, похожим на карандашную линию. Ветер пах мокрой травой и соляркой. Первокурсники сгрудились на носу с телефонами, а я села на корме и положила ладонь на левое запястье, где под рукавом были Лидины часы. Они отставали на четыре минуты, и я их не подводила.

Минут через десять кто-то на носу закричал «смотрите!», и я встала. Прямо из воды, без всякого берега вокруг, поднималась колокольня: два кирпичных яруса с пустыми арками, рыжие от старости, с белыми потёками по карнизам. В верхней арке висело что-то тёмное и тяжёлое. Я не сразу поняла, что смотрю на здание, которое стоит на дне и высовывает из воды голову.

— Звонецкая, — сказал перевозчик из рубки, негромко, но все замолчали. — Город там был. Звонец. Сейчас по крышам идём.

— А колокол настоящий? — спросила девушка с косой.

— Глухарь. Треснутый, потому и не сняли. Сорок пудов. — Он помолчал и добавил тем же голосом: — Звонит — к утопленнику.

Парни засмеялись, а перевозчик нет, и колокольня уплыла влево.

— А зимой как отсюда выбираться? — спросил парень с футляром от гитары.

— До замыки — по воде, на «Соколе». Потом лёд встанет, и недели три-четыре никак, ни лодкой, ни ногами. Замыка. Потом по льду, когда окрепнет. Декабрь, чай. — Он подумал и уточнил: — Хлеба запасают.

Слово мне понравилось: короткое и закрытое, со щелчком на конце, как замок у старого чемодана. Я повторила его про себя.

Когда остальные снова ушли на нос, перевозчик заглушил мотор и вышел из рубки. Он встал рядом со мной у борта, достал сигареты, посмотрел на них и убрал.

— Я её нашёл, — сказал он, глядя на воду. — По весне. Ты не бойся. Лицо у неё спокойное было.

Мама двадцать три года работает медсестрой в хирургии, и я выросла среди её разговоров по телефону, после которых она долго мыла руки на кухне. Лиду хоронили в закрытом гробу, и я знала почему. Он соврал мне из жалости, неумело и честно, и я была ему так благодарна, что у меня перехватило горло.

— Спасибо, — сказала я. — Как вас зовут?

— Тимофей Семёнович. Гаврилов. — Он кивнул на рубку. — Если что надо в Брод, говори. Вожу.

Телефон в кармане завибрировал: мама спрашивала, доехала ли я, и просила не молчать. Я ответила, что плыву на катере, всё хорошо и вода красивая, и это была правда, все три части.

Остров сначала сливался с дальним берегом, потом отделился: вдоль воды ивы, выше на склоне липы, жёлтые по краям, а между ними красный кирпич, белые наличники и на самой макушке холма мансарда с маленькой башенкой. У деревянной пристани покачивались две лодки. На столбе у сходни была прибита синяя табличка с белыми буквами, как на улицах: «Глухарь. Отлит в 1508 году». Я машинально вычла, получила пятьсот восемнадцать и разозлилась на себя: колокол, который звонит к утопленникам, я считала, как сдачу.

У таблички стояла девушка с плакатом из ватмана, на котором разноцветными маркерами было написано «Добро пожаловать на Остров!», а под надписью нарисован колокол с глазами и улыбкой. Сама она была маленькая, круглолицая и кудрявая, в очках в красной оправе, и из её сумки торчали спицы и хвост вязания всех цветов радуги.

— Первый курс! — закричала она так, что чайки снялись со сваи. — Я Варя, второй курс, классическая филология, древнегреческий, это навсегда, не спрашивайте. Мне поручили вас встретить, накормить и не потерять ни одного. Пока счёт в мою пользу.

Она зачитала фамилии и номера комнат, водя пальцем по списку, и на мне подняла голову.

— Ремезова Анастасия! Ты моя. В смысле, соседка, двенадцатая комната, у меня там пряжи на троих, но я подвинусь. — Она замолчала посреди вдоха, и я увидела, как фамилия дошла до неё целиком. — Ремезова. Ой.

— Да, — сказала я.

— Я её знала. Немножко. — Колокол с глазами уткнулся в доски пристани. — Я была на первом курсе, шёл дождь, а она дала мне зонт и сказала, что я похожа на Пульхерию. Я до сих пор не знаю, обидеться мне или нет.

Я почти улыбнулась. Лида называла так всех, кто ей нравился и кого она плохо знала: соседку по лестничной клетке, мою классную руководительницу и однажды рыжую кошку в ветклинике.

— Не обижайся, — сказала я. — Это в хорошем смысле.

— Тогда буду Пульхерией с гордостью. — Варя подхватила ручку моего чемодана, не спрашивая, и потянула его в гору. Чемодан упёрся больным колесом. — Боже, у тебя там кирпичи?

— Мамины представления о том, что мне может понадобиться.

Варя шла в гору и говорила не останавливаясь, показывая подбородком. Старый корпус, там учёба, деканат и столовая, а наверху мансарда, туда не ходи, там Звонари, потом объясню. Литейка, там библиотека и единственный на острове вайфай, и холодно, как в погребе, потому что книги любят холод, а люди нет. Пансион, это мы. Я кивала, но смотрела на другое: с вершины холма колокольня показалась над деревьями, и было видно, как от южного мыса к ней тянется по воде полоска ряби, прямая, с изломом ближе к колокольне.

Посвящение было в три часа, в Колокольном зале на первом этаже Старого корпуса: высокие окна, скрипучий паркет, стулья, обитые зелёным, и сцена с синим занавесом. Студентов на Острове было восемьдесят, и все поместились.

У окна гудела витрина с климат-контролем. Под стеклом лежала раскрытая рукопись: бурые листы, плотный полуустав, красные заглавные. Табличка сообщала: «„Звонецкий летописец“, список XVII века, 37 листов, обретён в 1997 году в цоколе Звонецкой колокольни». Слово «обретён» я оценила: так пишут про мощи и клады.

Но смотрела я на стену над сценой. Там висела начищенная латунная доска с одной строкой из летописца, выгравированной в точности как в рукописи, с титлами и выносными буквами, только крупно: «…и бысть во градѣ Звонецкѣ звонъ подъ водою, и слышаша вси, и не умре градъ, но звонитъ». Я прочитала её дважды, как задачу, где любое слово может оказаться ловушкой. «И был во граде Звонецке звон под водою, и слышали все, и не умер город, но звонит». Аорист, ять на месте, еры на концах слов — всё правильно и красиво. Гравёр перенёс руку писца честно, вместе с её привычками: у первой буквы в слове «ЗвонецкѢ» хвост уходил глубоко под строку и закручивался петлёй влево, как у человека, который ставит подпись и не может остановиться.

— Красиво, да? — прошептала Варя, усаживая меня в пятом ряду. — Я на неё весь первый курс смотрела вместо латыни.

Ректор вышла на сцену без бумажки. Ей было за пятьдесят. Высокая и прямая, с короткой седой стрижкой, в сером костюме и с ниткой жемчуга у горла, она держала очки на цепочке и за всю речь ни разу их не надела.

— Добрый день, голубчики, — сказала она, и по рядам прошёл тёплый смешок, каким старшие курсы встречают знакомую шутку. — Меня зовут Ирина Павловна Ланская. Двадцать девять лет назад мой отец, Павел Андреевич, стоял вот на этом месте, только сцены тогда не было, а были гнилые доски и голуби. Он держал в руках свинцовый ларец, который вода вернула нам из-под колокольни, и говорил, что здесь будет школа. Над ним смеялись. Вы сидите в его смехе.

Говорила она хорошо, это я признала сразу и без удовольствия: не повышая голоса, длинными правильными фразами. Про фонд, благодаря которому две трети из нас учатся бесплатно. Про то, что набирают двадцать человек в год и спрятаться на задней парте не выйдет.

— Вас выбрали не за деньги и не за фамилии, — сказала она, и на секунду мне показалось, что она смотрит прямо на меня, хотя смотрела она в середину зала. — Вас выбрали за то, как вы думаете. У Звонца есть девиз, и с сегодняшнего дня он ваш. «Не умре, но звонит».

Хлопали долго. Варя хлопала, зажав спицы в зубах. Я хлопала, потому что не хлопать было бы заметно, и смотрела вбок, на старшекурсников у стены. Один из них не хлопал. Высокий и сутулый, в старом свитере крупной вязки цвета мокрого песка, с тёмными волосами, падавшими на глаза, он вертел в длинных пальцах что-то маленькое и блестящее, похожее на вилку с двумя зубцами.

— Мирон Ланской, — шепнула Варя, проследив за моим взглядом. — Внук основателя и племянник ректора. Третий курс. Звонит в колокола. С людьми не разговаривает, так что не трать силы.

Я знала это имя. Лида звонила мне по воскресеньям, и в её рассказах про Остров был некто Мирон Батькович, который за весь семестр ни разу не засмеялся над её шутками, «но я его дожму, Аська, вот увидишь». Я представляла себе мрачного бородатого аспиранта. Этому было едва за двадцать, бороды он не носил, а мрачным был в самый раз.

Он поднял глаза, и мы посмотрели друг на друга через весь зал. Я не отвела взгляд, потому что не отвожу никогда, это у меня от мамы. Он тоже не отвёл. Потом коротко кивнул, будто в чём-то со мной согласился, стукнул своей вилкой о колено, поднёс к уху, сунул в карман и вышел в боковую дверь, пока все хлопали.

После посвящения раздавали студенческие билеты и пирожки с капустой, и в очереди к столу меня нашла ректор. Вблизи от неё пахло вербеной, и рука у неё была сухая и тёплая, как у врача после горячей воды.

— Анастасия, — сказала она. Не спросила, а назвала. — Я помню Лиду. Её все здесь помнят. Не стану говорить вам слов, которые вы и так слышали сто раз. Скажу одно: моя дверь открыта, голубчик. В любое время, в любом настроении. Договорились?

— Договорились, — сказала я. — Спасибо, Ирина Павловна.

Она чуть сжала мои пальцы и ушла к следующему первокурснику, которого тоже назвала по имени. Я стояла с пирожком, и уши у меня горели: я приехала сюда искать, и каждое моё сегодняшнее «спасибо» было немножко враньём, лишней нотой, которую слышала только я.

Заселяли после посвящения, и чемодан до вечера простоял в деканате. Пансион стоял ниже по склону, трёхэтажный, жёлтый, с белыми пилястрами и чугунными колокольчиками на перилах лестницы. У входа за столом с лампой сидел дежурный, полный мужчина в вязаной жилетке, и при нём лежал толстый журнал в коленкоровой обложке.

— Новенькая? Фамилия, комната. После одиннадцати вечера выход только через меня и только с записью. Если что горит, тонет или падает, тоже через меня.

— А если просто не спится? — спросила Варя.

— Тогда к себе, Птицына, и не спи там на здоровье, — сказал дежурный и вывел в журнале круглым почерком: «1.09. Ремезова А. — 12».

Комната номер двенадцать была на втором этаже, в конце коридора, с окном на затон. Внизу лежала тёмная спокойная вода с кувшинками по краю, за ней на мысу стоял двухэтажный дом с верандой, а если прижаться щекой к раме, наискосок была видна колокольня. Две кровати, два стола и батарея, покрашенная столько раз, что рёбра у неё скруглились. Варина половина была завалена клубками, программками студенческих спектаклей и открытками с античными бюстами, которым маркером подрисовали очки.

— Правила, — объявила Варя и загнула палец. — Если я сплю в маске, значит, я сплю, и меня не будит даже пожар. Сеть нормально ловит только на третьем этаже Старого корпуса и на пристани, а у нас — когда как. — Она загнула ещё один палец. — И не пугайся, если ночью что-нибудь зазвонит. Тут вечно что-нибудь звонит.

Мы разбирали вещи под её болтовню. У Вари было три брата в Казани, и рассказывала она про них как про три стихийных бедствия, которые любит. Когда я достала мамины шерстяные рейтузы, Варя смеялась минуты две, а потом вдруг замолчала, повертела в руках клубок и сказала, не глядя на меня:

— Лида жила на третьем. В тридцать первой. Там сейчас четверокурсницы. — Она сглотнула. — Ась, ты, может, слышала… Тут говорили, что она была… ну… что она сама.

— Не сама, — сказала я.

— Прости. Я не должна была…

— Не за что. Ты же не сама это придумала, ты пересказала. — Я закрыла шкаф. — Просто если кто-нибудь при тебе это повторит, скажи ему, что у неё на столе остался список подарков к Новому году, с ценами и галочками. Кто собирается уйти, тот не высчитывает, хватит ли денег на шарф для сестры.

Варя серьёзно кивнула и больше в тот вечер ни о чём не спрашивала.

Когда она ушла в душ, я села на подоконник и разложила всё, что знала, по порядку, как учат на олимпиаде: сначала данные, все, даже лишние, потом закономерность, потом проверка. В ночь на двадцать седьмое ноября две тысячи двадцать четвёртого года Лида одна пошла по старой затопленной дамбе к колокольне и на обратном пути провалилась в двухстах пятидесяти метрах от берега, там, где дамба поворачивает. Тело нашли восемнадцатого апреля, после ледохода. В Броде провели проверку: опросили кого положено, дважды прослушали моё голосовое и сказали маме, что оно, к сожалению, всё объясняет. В возбуждении уголовного дела

отказали за отсутствием события преступления. Маме отдали картонную коробку с вещами из тридцать первой комнаты. Красную холщовую сумку, с которой Лида не расставалась, так и не нашли, и телефон тоже. На сумке висел латунный бубенчик размером с вишню, я подарила его Лиде, когда она поступила.

Задача: что моя сестра нашла на колокольне такого, о чём собиралась рассказать мне утром и чего, кроме неё, никто не увидел?

Как её решать, я не знала, но решать её можно было только отсюда.

Варя легла в половине двенадцатого, натянула маску с нарисованными ресницами, вставила беруши, сказала «спокойной ночи, Пульхерия номер два» и через пять минут засопела. В Пансионе ещё хлопали двери, потом всё стихло, и стало слышно воду.

В три часа я нащупала на тумбочке наушники. В три десять открыла чат «Лида». Под именем, как всегда, стояло серое «была в сети 27 ноября в 3:36», а внизу, под фотографиями котов и смешными стикерами, висела полоска голосового: «1:52», отправлено в 3:14, значит, говорить она начала в три двенадцать. На Лидиных часах было три ноль восемь, на телефоне три двенадцать. Я нажала.

— Аська, не спишь? — сказала Лида мне в ухо, весело, запыхавшись, громче, чем надо. — Не пугайся, я на колокольне. Да, ночью, да, по льду, потом поругаешь. Я нашла. Представляешь, всё сходится, до последней палочки. Если вдруг… нет, ничего не будет. Просто сохрани это. Я тебе завтра всё расскажу, и ты скажешь, что я гений. Слушай, как он звучит…

Потом был колокол.

Он звучал низко и глухо, совсем не так, как звонят в кино. Удар проходил через наушник куда-то в затылок и глох с дребезгом, а следующий приходил то сразу, то после паузы, то после длинной паузы, в которую было слышно ветер, Лидино дыхание и скрип, будто под ногой подалась доска. Удары шли группами, неровно, как будто кто-то неуверенно стучит в дверь, замолкает и стучит опять. В конце был шорох, короткий скрежет, словно телефон задел за камень, и тишина.

Я слушала это голосовое почти каждую ночь, год и девять месяцев, и ни разу не сосчитала удары. Сосчитать удары значило превратить последнее, что от Лиды осталось, в цифры, а цифры пишут в протоколах. Пока я не считала, это был просто звон, который она мне прислала.

Той ночью я спала. Я училась в одиннадцатом классе и по вечерам сидела на кассе в магазине у дома, по четыре часа после уроков — больше школьнице по закону нельзя. Мама в ту ночь была на дежурстве. Я пришла в одиннадцатом часу, поставила телефон на беззвучный, чтобы не будили рассылки, и уснула не раздеваясь. Голосовое я увидела в шесть сорок утра, прослушала на остановке и подумала: вот ненормальная. В семь пятнадцать набрала её номер, услышала, что абонент недоступен, и решила, что села батарейка. В одиннадцать маме позвонили из академии.

Если бы телефон не молчал, я бы проснулась. Я бы перезвонила ей в три пятнадцать, мы бы поругались, она рассказала бы мне всё прямо там, наверху, и пошла бы назад позже, или осторожнее, или дождалась бы утра, потому что я бы её уговорила. Я знаю, что так думать бессмысленно; мама, когда лечилась, говорила то же самое про свою смену.

Голосовое кончилось. Я положила телефон на грудь экраном вниз и лежала, не вынимая наушников, потому что после Лиды мне всегда нужно несколько минут, чтобы вернуться.

И тогда с воды пришёл звон.

Сначала я решила, что это хвост голосового застрял у меня в голове. Потом вынула наушники и услышала его снова, по-настоящему: низкий, тяжёлый, глухой удар, как будто колокол накрыли подушкой и всё равно ударили. Он прошёл сквозь стекло и матрас и отозвался у меня в рёбрах. Телефон показывал три двадцать.

Я подошла к окну. Затон был чёрный, дом на мысу тёмный, только внизу у него светилось одно окно. Я прижалась щекой к холодной раме и увидела колокольню, чёрную на чуть более

светлом небе, с белой искрой навигационного огня наверху. У её подножия, низко над водой, качался огонёк, белый и маленький, как от налобного фонаря. Колокол ударил ещё раз, третий, и я, не успев себе запретить, начала считать. На четвёртом ударе остановилась, прижала ладонь к стеклу и стояла так, пока звук не ушёл под воду. Больше ударов не было. Огонёк качнулся и исчез за колокольней.

«Глухарь звонит — к утопленнику», — сказал у меня в голове Тимофей Семёнович будничным голосом.

Я оглянулась на Варю: выросшая с тремя братьями, в маске и берушах, она спала бы и под набат.

Под дверью зашуршало.

Звук был тихий и отчётливый, будто по паркету провели ладонью. В полоске света из коридора показался белый прямоугольник и рывками вполз в комнату, пока не лёг целиком. Шагов я не услышала.

Я открыла не сразу, сначала пришлось уговорить руки. Коридор был пуст до самой лестницы. Горела одна лампа над пожарным щитом, внизу у дежурного бормотало радио, и ни одна дверь не хлопнула. Я вернулась, подняла карточку и включила на телефоне фонарик.

Карточка была плотная, кремовая, обрезанная по краям ножницами. Надпись сделали чернилами, перьевой ручкой, аккуратным наклонным почерком без нажима, в дореформенной орфографии, с ятем, как пишут в книгах, которые давно никто не читает:

«Уѣзжай, Ремезова»

# Глава 2. Звонец и Звонецк

Утром Варя села на кровати, сдвинула маску на лоб и первым делом показала мне кремовую карточку, зажатую между двумя пальцами, как билет в театр.

— Смотри, что у порога под тапками лежало, — сказала она хриплым со сна голосом. — Тебе, не мне. Это у нас традиция. Звонари пугают первокурсников, а первокурсники делают вид, что не испугались. Я в свой первый сентябрь проплакала до завтрака.

На этой карточке было то же слово, «Уѣзжай», тем же ятем, только без имени и с точкой, поставленной так старательно, что перо прорвало бумагу. Моя лежала в кармане джинсов, сложенная пополам: ночью я подняла только ту, что легла в полосу света. Я положила её рядом с найденной. Буквы были чужие друг другу. На найденной кто-то давил на перо, как на гвоздь, и вёл строку вверх. На моей наклон был лёгкий и одинаковый по всей строке, нажима почти не было, ять стоял без завитка, будто его поставил человек, который пишет так каждый день и давно перестал этим любоваться.

— А имя? — спросила я. — Имена тоже по традиции?

Варя взяла мою карточку, поднесла к очкам, потом отвела подальше, как бабушка с рецептом.

— Нет, — сказала она медленно. — Имён никому не пишут. Слушай, может, это кто-то, кто знал Лиду? Это же не обязательно злое. Может, это забота. Очень кривая.

— Забота обычно подписывается.

Я положила карточку в паспорт, между страницей с пропиской и обложкой, и пошла вниз раньше Вари.

Дежурный за ночь не сменился. Он сидел над журналом с кружкой цикория и разгадывал кроссворд погрызенным карандашом.

— Ночью кто-то ходил по второму этажу, — сказала я. — В три двадцать одну. Вы видели?

— Видел, не видел. — Он вписал в клеточки какое-то слово и посмотрел на меня поверх очков. — Звонари ходили, кто ж ещё. Первое сентября. Старший у них берёт лодку, гребёт к колокольне и бьёт четыре раза, а остальные по этому звону вам под двери бумажки суют. Каждый год одно и то же, двадцать лет. Вы, Ремезова, не берите в голову.

— Но вы же записываете всех, кто выходит после одиннадцати.

— Записываю тех, кто выходит мимо меня. — Дежурный кивнул в сторону коридора, который уходил от вахты к торцу здания. — А там пожарная лестница. Дверь на ней по пожарным правилам изнутри не запирается. Я человек немолодой, Ремезова, мне за каждым Звонарём по пожарной лестнице не набегаться. Они свои. Чужих тут нет.

«Они свои» прозвучало так, будто это всё объясняло, и в каком-то смысле объясняло: на острове, где всего восемьдесят студентов, чужим было неоткуда взяться. Значит, моё имя на карточке написал свой.

Палеография у первого курса стояла второй парой, в Литейке. Внутри старого склада было так холодно, что девочки сразу поддели под пиджаки свитера, а парни сделали вид, что им нормально. Своды над головой были кирпичные, белёные, с чёрными пятнами старой литейной копоти. Между шкафами с книгами висели увеличенные фотографии рукописных страниц, где каждая буква была размером с ладонь.

Преподаватель вошёл со звонком, вернее, вкатился: полный, лысеющий, с седой бородкой клинышком, в вязаном кардигане с заплатами на локтях и в очках-половинках, которые держались на самом кончике носа. Из нагрудного кармана торчал мундштук трубки. Пальцы у

него были в чернилах, причём разного цвета, синего и рыжего, как будто он с утра уже успел что-то написать двумя руками.

— Голубчики мои, — сказал он, оглядев нас с нежностью человека, который видит перед собой девятнадцать новых пар глаз и знает, что половина из них к зиме возненавидит букву «юс». — Я Герман Ильич Кирсанов. Тридцать лет назад я приехал сюда на месяц, разобрать архив затопленного города. Как видите, архив оказался капризным. Сегодня мы учимся читать то, что люди писали, когда у них не было запятых, пробелов и лишней бумаги.

Он взял мел и стал писать на доске полууставом, почти не глядя на неё и очень быстро. Через полминуты на чёрной доске стояла белая строка, плотная, без пробелов, с титлами и с выносными буквами, которые сидели над словами, как воробьи на проводах. Я начала переписывать и на третьем слове остановилась.

У буквы «з» в слове «здѣ» хвост уходил под строку и загибался влево петлёй. Точно так же, как вчера на латунной доске в Колокольном зале.

Я подняла руку раньше, чем успела решить, стоит ли.

— Герман Ильич, у вас «з» как в летописце. С петлёй. Это особенность почерка семнадцатого века или конкретного писца?

Кирсанов обернулся, сдвинул очки на лоб, и лицо у него стало такое счастливое, словно я подарила ему пирожное.

— Глаз! — сказал он, показывая на меня мелом. — Вы видели? Первый день, вторая пара, а у человека уже глаз. Это, сударыня, моё профессиональное увечье. Я с девяносто седьмого года копирую нашего летописца: для выставок, для пособий, для фонда, для журналистов, которые хотят «что-нибудь старинное на фоне». Рука прилипла. Я теперь и в списке покупок так «з» пишу, продавщица в Броде думает, что я колдун. — Он вернул очки на нос. — А в семнадцатом веке, если вам интересно, хвостатые «з» с петлёй писал каждый второй ярославский подьячий. Писцы тоже были людьми, у них тоже прилипало.

Все засмеялись, и я тоже. Объяснение было смешное и правдоподобное: я сама полгода писала «д» с хвостиком вниз, когда переписывала для олимпиады старые грамоты. Я перерисовала петлю в тетрадь.

— А теперь, — объявил Кирсанов, — работа в парах. Пары я не назначаю, я их тяну, как жребий на Святки. — Он снял с вешалки чью-то вязаную шапку, сложил в неё бумажки с нашими фамилиями и протянул в сторону двери. — Мирон Андреевич, ассистируйте.

У двери стоял Мирон Ланской. Я не заметила, когда он вошёл. Сегодня он был в том же свитере цвета мокрого песка, только рукава закатал до локтей, и на длинных пальцах были жёсткие мозоли, как от вёсел и верёвок. Он тянул бумажки по две, читал фамилии вслух без всякого выражения, и пары расходились по столам. На седьмой паре он вытянул мою фамилию, посмотрел на вторую бумажку и на секунду замолчал.

— Ремезова, — прочитал он. — И ассистент. Один первокурсник в изоляторе, вас нечётное число.

Кирсанов снял очки и протирал их краем кардигана дольше, чем нужно. Лида была его ассистенткой и в трубку звала его «мой Г.И.».

— Ремезова, вам повезло, — сказал он наконец. — Мирон Андреевич не кусается до обеда. После обеда — не ручаюсь.

Мирон сел напротив меня, положил на стол лист с заданием и придвинул его ко мне двумя пальцами, как документ на подпись.

— Я знаю, кто вы, — сказал он тихо, чтобы не слышали соседи.

— Я тоже знаю, кто вы, — ответила я. — Это экономит время.

Он посмотрел на меня так же, как вчера через зал, долго и без улыбки, и ничего не сказал. Задание было простое: прочитать строку с доски, раскрыть титла, восстановить выносные буквы и перевести на современный русский. Мирон работал быстро и молча, писал каранда-

шом в углу листа подсказки там, где я колебалась, и не объяснял ничего, если я не спрашивала. Почерк у него был мелкий, наклонный, без нажима. Ять он писал без завитка. Я смотрела на его «ѣ», думала о карточке в своём паспорте и молчала: подозрение, высказанное в первый же день, превращается в истерику, а мне нужно было, чтобы меня здесь слушали.

В конце пары Кирсанов, протирая доску рукавом кардигана, устроил то, что он назвал «вопросом на засыпку для бодрости духа».

— Почему старики в Броде говорят «Звонец», а мы с вами на всех табличках пишем «Звонецк»? Кто ответит, получит от меня бессмертную славу и пряник. Пряник настоящий, тульский, из личных запасов.

Я подождала, не ответит ли кто-нибудь, никто не ответил, и я подняла руку.

— Суффикс «-ск» — типичный для городов, получивших статус при губернской реформе Екатерины. Посад становится уездным городом, его переименовывают по образцу: был Звонец, стал Звонецк. Старики помнят старое название, потому что в разговоре оно держится дольше, чем в документах.

— Пряник ваш! — Кирсанов развёл руками, как дирижёр в финале. — Совершенно верно, голубушка. Тысяча семьсот семьдесят восьмой год, губернская реформа, Ярославское наместничество. До этого был посад Звонец, после — уездный город Звонецк. А старики, как вы сказали, народ консервативный, им указ не указ.

Он вручил мне пряник в бумажной обёртке, твёрдый, как кирпич Старого корпуса, и я села, и уже потом, складывая тетрадь, вспомнила латунную доску: «во градѣ Звонецкѣ», в списке XVII века, за сто с лишним лет до указа.

Я догнала Мирона во дворе Литейки. Он шёл к Старому корпусу с охапкой папок и не обернулся, хотя наверняка слышал мои шаги.

— Можно вопрос по специальности?

— По специальности можно.

— На доске в зале летописец называет город «Звонецк». В списке семнадцатого века. Как это может быть, если название появилось в тысяча семьсот семьдесят восьмом?

Он остановился и посмотрел на меня с тем выражением, с каким смотрят на человека, который нашёл в правилах ошибку, давно найденную всеми до него.

— Об этом есть статья, — сказал он. — Деда. Девяносто восьмой год, ярославский краеведческий сборник, у нас в библиотеке на полке основателя. Он показывает, что писцы звали посад «Звонецком» задолго до указа, на книжный лад. В разговоре держался Звонец, а указ узаконил книжное имя.

— Удобно.

— Наука не обязана быть неудобной, Ремезова. — Он поправил папки под мышкой. — Прочитаете статью — поговорим.

— А если я прочитаю и не поверю?

— Тогда тем более поговорим.

Он ушёл, а я стояла среди первых жёлтых листьев и злилась, потому что он был прав: прежде чем спорить, надо читать. И ещё потому, что на секунду мне стало интересно с ним спорить, а я приехала сюда совсем не за этим.

В столовой было шумно, пахло гречкой и котлетами, а на стенах висели старые фотографии посада, сделанные до затопления: торговые ряды, пристань с баржами, колокольня целиком, от земли до креста, с собором рядом. Я смотрела на неё, пока Варя не потянула меня за рукав к длинному столу у окна.

— Знакомься, солнце, это наш второй курс, это греки, это латиняне, а это вообще непонятно кто, но он хороший. — Она тараторила, расставляя подносы, и все кивали мне так приветливо, что становилось ясно: про мою фамилию на острове уже знают все.

За соседним столом сидели старшекурсники. Их было слышно раньше, чем видно. Громче всех говорил светловолосый парень в дорогой куртке, накинутой на плечи, красивый той ухоженной красотой, которая бывает у людей, никогда не стоявших в очереди за чем-то необходимым. Он рассказывал что-то про Москву, вставлял «окей» и «вайб», и вокруг него смеялись, как смеются вокруг человека, при котором опасно не смеяться. Рядом с ним сидела девушка с гладким чёрным хвостом и длинной бледной шеей, она ела суп, не поднимая глаз, и не смеялась.

— Костя Ведерников, четвёртый курс, — шепнула Варя. — Агния Сабурова, третий. Они вместе. Оба Звонари. Костя главный. Не связывайся.

Костя услышал, что о нём шепчут, и обернулся. Нашёл глазами меня и улыбнулся широко, с удовольствием.

— О, бюджетные ангелы прилетели, — сказал он на весь зал. — Новенькие, привет. Вы на гранте? Все на гранте? Обожаю. — Он перевёл взгляд на меня и прищурился. — Подожди, ты же Ремезова. Сестричка той самой. Ну, которая утопленница. Слушай, это же вайб, это прям готический роман, ты в курсе? Скажи что-нибудь, я запишу. — Он вытащил телефон и навёл на меня микрофоном, как журналист. — У меня всё пишется, привычка. Потом конспекты сами себя расшифровывают.

За нашим столом все перестали жевать. Варя положила вилку. Я посмотрела на телефон, потом на Костю и сказала вежливо, негромко, так, как говорю, когда злюсь сильнее всего:

— Запиши. Моя сестра поступила сюда без папы и без папиных денег. А сейчас рядом с тобой сидят люди, которые тебя боятся и смеются только из вежливости. Это и есть вайб, Костя. Готический роман тут ни при чём, это обычный бытовой реализм.

Стало так тихо, что я услышала, как на раздаче звякнул половник. Костя улыбался ещё секунды две, потом улыбка сползла, и он медленно опустил телефон. Кто-то за его столом коротко хмыкнул и тут же подавился компотом. Девушка с чёрным хвостом впервые подняла глаза от супа и посмотрела на меня. Так разглядывают незнакомую марку: без одобрения и без злости, очень внимательно.

— Окей, — сказал наконец Костя, и улыбка вернулась, только до глаз уже не дошла. — Окей, Ремезова. Запомню.

— Запиши, — повторила я. — Ты же всё записываешь.

Когда мы вышли, Варя схватила меня за локоть и зашипела, сияя:

— Ты сумасшедшая. Ты прекрасная сумасшедшая. «Это обычный бытовой реализм»! Я это украду для студии, я это в «Вишнёвый сад» вставлю, Чехов не обидится. Но, Ась… — Она оглянулась. — Звонари — это не просто кружок. Они собираются в мансарде Старого корпуса, у них там свой колокол, своя книга, свои правила, и туда никого не пускают. Если Костя тебя запомнил, это надолго.

— Я тоже его запомнила, — сказала я.

После пар я придумала предлог: Варе нужна была стремянка, чтобы снять со шкафа коробку с театральным реквизитом, а стремянки, как выяснилось, на втором этаже не было, зато, по слухам, была на третьем. Варя посмотрела на меня понимающе и отпустила искать.

Дверь тридцать первой комнаты была приоткрыта. Внутри две четверокурсницы клеили на стену расписание и спорили, где верх. Я извинилась, спросила про стремянку, получила ответ, что стремянка у коменданта, и уже повернулась уходить, когда одна из них, с короткой стрижкой и в огромных наушниках на шее, сказала:

— Ты Ремезова. Ты хочешь посмотреть?

Я хотела. Я сказала «если можно», и она отошла от окна.

Комната была такая же, как наша, только окно выходило на другую сторону, на сад и старую липовую аллею. Чужие вещи, чужие плакаты, чужой чайник. Ничего от Лиды здесь не осталось, кроме одного: на белом подоконнике, у самого края, где обычно ставят локоть, кто-

то когда-то процарапал две буквы, «ЛР», косо и глубоко, ножом или ключом. Краску потом подновляли, и буквы заплыли белым, но не исчезли.

Я положила на них палец. Царапины были шершавые. Лида так подписывала всё, что считала своим: учебники, кружки, мои тетради, когда я была маленькая и не возражала, и однажды крышку маминого пианино, за что ей влетело так, что мы обе помнили. Наверное, она сидела вот так, боком на подоконнике, с ногами на батарее, смотрела в сад и царапала эти буквы в каком-нибудь скучном октябре. Я не плакала. Я посчитала зачем-то, сколько у буквы «Р» отдельных царапин, вышло пять, и это помогло.

— Мы их не закрашиваем, — сказала девушка в наушниках. — Комендант хотел зашкурить. Мы не дали.

— Спасибо, — сказала я и ушла, не дождавшись, пока у меня что-нибудь не случится с лицом.

Вечером я нашла Мирона в читальном зале Литейки. Он сидел в дальнем углу под зелёной лампой, обложившись книгами, и держал в зубах карандаш, как трубку. Кроме нас, в зале была только библиотекарь, и она вязала носок под радио в наушниках.

Я села напротив без приглашения.

— Мне не нужна статья вашего деда. По крайней мере, не сейчас. Мне нужно, чтобы вы рассказали, что знаете про мою сестру.

Он вынул карандаш изо рта, положил его на книгу и посмотрел на меня поверх лампы. Свет снизу делал его лицо старше и усталее.

— Не здесь, — сказал он.

— Здесь никого нет.

— Здесь всегда кто-нибудь есть. — Он покосился на библиотекаршу. — Завтра. В девять вечера. У лодочного сарая на южном мысу. Знаете, где это?

— Найду.

— Оденьтесь теплее. У воды вечером холодно.

Он снова взял карандаш и вернулся к книге, и я поняла, что разговор окончен. Уходя, я обернулась у двери. Он не читал. Он смотрел в тёмное окно, где ничего не было видно, кроме его собственного отражения и зелёной лампы.

Четверг прошёл в латыни, старославянском и попытках выглядеть человеком, который не ждёт вечера. На практикуме Кирсанов раздал нам наши вчерашние работы, проверенные, и на полях моего листа, рядом с ошибкой в титле, стояла короткая пометка карандашом, сделанная не им. Сам он писал на полях размашисто, синим, с петлями. Эта пометка была мелкая, наклонная, без нажима: «титло над „гдь“ — сокращение, не выносная». Мирон проверял работы за него. Вечером, пока Варя была в душе, я достала паспорт, вынула карточку и положила её рядом с пометкой. Наклон был тот же. Нажим тот же. Ять — я поискала на листе ять и нашла его в слове «нѣтъ», которое Мирон вписал над моей ошибкой, — без завитка. Я сидела над двумя бумажками, как над задачей, у которой слишком очевидное решение, и не верила ему именно потому, что оно было очевидным.

В половине девятого я надела куртку и мамин шарф, оставила Варе записку, где меня искать, и пошла на южный мыс.

Тропа шла через сад за Пансионом, мимо старых яблонь, на которых в темноте белели ещё не собранные яблоки, потом вдоль берега затона. Дом на мысу стоял тёмный, только внизу горело одно окно. Дальше тропа спускалась к воде, и там, на самом краю острова, стоял лодочный сарай: длинный, дощатый, просмолённый, с широкими воротами к воде и с покосившейся трубой от печки на крыше. У ворот на песке лежали перевёрнутые лодки, а рядом были сложены длинные тонкие жерди с пучками хвои на концах, связанные верёвкой.

Мирона не было. Я посмотрела на телефон: девять ноль две. Подождала. Девять десять. Над водой стоял сырой холод, пахло тиной, смолой и печным дымом, хотя труба не дымила.

От сарая в воду уходила полоса ряби, та самая, которую я видела в первый день с холма, теперь почти невидимая, только чуть светлее остальной воды. Она шла от берега прямо, а где-то далеко, где я уже не могла различить, поворачивала и тянулась к колокольне. Колокольня стояла чёрной фигурой на тёмно-синем небе, наверху мигал белый навигационный огонёк, а в арке под ним ничего не было видно, но я всё равно знала, что там висит колокол.

Девять двадцать. Я поняла, что он не придёт. Мне стало обидно, глупо и по-детски, как в шесть лет, когда папа обещал прийти на утренник. Я подошла к самой кромке, туда, где вода лизала песок, и смотрела на полосу ряби, по которой ночью почти два года назад шла моя сестра. Отсюда до колокольни было четыреста метров. Отсюда это выглядело так близко.

За спиной хрустнул песок.

Я обернулась так резко, что чуть не потеряла равновесие. В темноте у ворот сарая стоял человек, невысокий, в брезентовой куртке, с электрическим фонариком, который он держал опущенным, светом в песок.

— Сюда в темноте не ходят, дочка, — сказал Тимофей Семёнович негромко и совсем не сердито. — Я тут ночую, когда утром рейс. Печка у меня тут. Слышу — ходит кто-то.

— Я жду человека.

— Человека тут не дождёшься. — Он помолчал, глядя мимо меня на воду. — Тут твою сестру и ждали.

У меня похолодели руки.

— Кто ждал?

Тимофей Семёнович перевёл на меня взгляд, долгий и непонятный, и ответил так, как отвечают на вопросы, в которых нет ничего удивительного:

— Вода.

# Глава 3. Дом у затона

В пятницу после латыни я дождалась Мирона у дверей Литейки и, когда он вышел, протянула ему карточку на раскрытой ладони, как протягивают кассиру купюру, в подлинности которой сомневаются.

Он посмотрел на неё, потом на меня. Отпираться не стал. Даже не изобразил удивления, и за это я, кажется, впервые его немного зауважала.

— Да, — сказал он. — Моя.

— Зачем?

— Чтобы вы уехали.

— Это я поняла. Я спрашиваю зачем.

Мимо нас прошли двое второкурсников с термосом, поздоровались с ним, покосились на меня и ускорили шаг. Мирон дождался, пока они свернут за угол Старого корпуса.

— Уезжайте, Ремезова, — сказал он тем же голосом, каким в среду читал фамилии из шапки. — Вам здесь будет плохо. Больше мне сказать нечего.

— Вы назначили мне встречу и не пришли.

— Пришёл. — Он сунул руки в карманы. — Из сарая тянуло дымом, там ночевал Гаврилов. При нём — нет.

— Почему при нём нет?

— Потому что он нашёл её. — Мирон сказал это быстро, на одном выдохе. — Он не обязан это слушать ещё раз.

Я убрала карточку в паспорт. Руки у меня были холодные, хотя утро стояло тёплое, почти летнее, и на ступенях Литейки грелась рыжая кошка.

— Вы знаете, что с ней было, — сказала я.

Мирон посмотрел мимо меня, туда, где за крышами садовых сараев тускло блестела вода.

— Я знаю, чего не было, — ответил он. — Меня рядом.

И ушёл, а я осталась на ступенях с кошкой, которая подставила солнцу другой бок.

Вечером Варя сидела на кровати по-турецки, с вязанием на коленях, и считала петли шёпотом, шевеля губами, как первоклассница над примером. Шарф у неё был задуман семицветным, по полосе на каждый цвет радуги, и шёл уже по второму кругу.

— Это на сессию, — объяснила она, не поднимая глаз. — Довяжу к январю — сдам греческий. Позапрошлой зимой не довязала и пошла на первый курс по второму кругу. С тех пор у меня с мирозданием договор, оно пока не возражает.

Я отложила латынь: к понедельнику надо было просклонять двадцать существительных третьего склонения, и все с подвохом. Потом рассказала Варе про карточку и про Мирона. Варя опустила спицы и сняла очки, будто без них ей легче было думать.

— Мирон? — переспросила она. — Ась, он со всеми такой, он не злой. Они с Лидой дружили. Я её помню больше с ним, чем без него. Она сидела у него в лодке на носу, без весла, и командовала, куда грести, а он грёб и молчал. Весь остров над ними посмеивался, а им было всё равно. — Варя потеребила нитку. — После той ночи он полгода ни с кем не разговаривал. Совсем. На семинарах отвечал письменно, на листочке. Мне его было жалко так, что я однажды подложила ему под дверь шоколадку. Анонимно. Он её, по-моему, выбросил.

Я сидела и смотрела на свои руки. Лида рассказывала мне по воскресеньям про Мирона Батьковича, который не смеётся над её шутками, и ни разу не сказала, что сидит у него в лодке. Это кольнуло сильнее, чем я ожидала. У сестры здесь была своя жизнь, о которой она мне не говорила, и теперь я собирала её по кусочку из чужих рук.

— Может, он написал тебе «уезжай», потому что боится, что с тобой будет то же самое, — сказала Варя.

— Или потому, что боится, что я узнаю, как всё было.

Варя посмотрела на меня поверх спиц и снова взялась за петли.

— Солнце, с таким лицом Гамлет ходит по крепостной стене и ждёт призрака. Ложись спать. Призраки приходят к тем, кто выспался.

В субботу ректор пила чай с грантовыми первокурсниками. Варя объяснила, что это традиция с основания: первая суббота сентября, Дом у затона, пирог с яблоками, «и Ирина Павловна помнит всех по именам, это немного страшно, но в хорошем смысле». Нас было тринадцать, плюс Варя, которой и здесь поручили никого не потерять. Мы шли через сад гуськом, в лучшем, что нашлось в чемоданах, и я в своём единственном приличном свитере чувствовала себя как на школьной линейке, только без бантов.

Дом стоял на юго-восточном мысу, двухэтажный, деревянный, на каменном цоколе, с верандой, застеклённой мелкими квадратиками. Я узнала его сразу. Это его нижнее окно светилось ночью, когда звонил Глухарь, и это оно горело в четверг, когда я ждала у сарая. Отсюда до сарая было рукой подать: за домом начинался спуск к воде, и тропа, по которой я шла в четверг, вела как раз под его окнами.

Ирина Павловна встретила нас на крыльце, в сером кардигане вместо костюма, с той же ниткой жемчуга, и каждого назвала по имени, не заглядывая ни в какой список. Девочке из Костромы сказала, что её диктант по старославянскому лучший за пять лет. Мальчику с гитарой — что гитару на острове лучше держать подальше от батареи, «она тут у всех трескается, проверено поколениями». Мне сказала:

— Анастасия. Как мама? Передайте ей от меня поклон. Проходите, у нас тут без церемоний. Обувь можно не снимать, полы видали и не такое.

В прихожей пахло вербеной, яблоками и старым деревом. На вешалке висели пальто, под ними стояли резиновые сапоги нескольких размеров, а на массивном кованом крюке у двери висел фонарь: латунный, тяжёлый, с жёлтым стеклом и маленькой откидной шторкой на петле. Он был такой старый и такой красивый, что я остановилась.

— Отцовский, — сказала Ирина Павловна, заметив, куда я смотрю. — Вернее, дедовский. Литейщицкий, девятнадцатый век, с таким ходили ночью в цех, где горел металл, поэтому стекло жёлтое: оно не слепит. Я им пользуюсь. В саду ночью темно, как в погребе, а электрические фонарики у меня садятся от одного взгляда.

Она сказала это легко, мимоходом, и повела нас дальше, в гостиную, где на круглом столе под абажуром уже стояли чашки разной породы, явно собранные из нескольких сервизов, и два пирога на деревянных досках.

За чаем Ирина Павловна рассказывала про остров так, как рассказывают про человека, которого любят, зная все его недостатки. Про то, как в октябре здесь начинает выть ветер в печных трубах. Про то, что котельная иногда ломается и тогда все спят в свитерах, «зато какие у нас тогда семинары, никто не хочет уходить из тёплой аудитории». Про катер «Сокол», который ходит до замыки, и про саму замыку.

— Это местное слово, вы его ещё много раз услышите, — сказала она. — Когда лёд встаёт, остров закрывается. Ни лодкой, ни пешком. Недели три-четыре. Мы к этому времени запасаем муку, крупы, лекарства, а повариха сама печёт хлеб. Мне в детстве казалось, что в замыку мир кончается у нашего берега. Мне и сейчас иногда так кажется. Это очень успокаивает.

— А если кто-то заболеет? — спросила девочка из Костромы.

— Тогда МЧС на аэролодке, — сказала Ирина Павловна. — Или вертолёт, если совсем плохо. Не бойтесь. Мы тут не первый год живём на краю света и пока никого ему не отдали.

Она сказала это и, видимо, вспомнила про меня, потому что на долю секунды запнулась. Никто, кроме меня, этого не заметил. Она тут же предложила ещё пирога.

Потом разговор перескочил на черновики. Мальчик с гитарой признался, что перед поступлением сжёг в бабушкиной печке все свои школьные сочинения, «чтобы начать с чистого листа». Ирина Павловна поставила чашку на блюдце и посмотрела на него с такой укоризной, будто он сжёг не сочинения, а библиотеку.

— Голубчик, бумагу не жгут, — сказала она. — Её хранят. Даже плохую. Особенно плохую: по ней потом видно, каким вы были и сколько прошли. Я до сих пор храню свои студенческие конспекты, и они ужасны.

Все засмеялись, и мальчик с гитарой засмеялся тоже, красный до ушей.

Дверь в прихожей хлопнула, и в гостиную вошёл Мирон. Он был в том же свитере, с мокрыми волосами и с пакетом яблок, которые высыпал в вазу на буфете, не глядя на гостей.

— Ира, твой дровяник опять течёт, — сказал он. — Я положил рубероид. До зимы хватит.

— Спасибо, мой хороший. Садись, раз пришёл.

— Я не пришёл. Я мимо.

— Садись, — повторила Ирина Павловна тем же мягким голосом, и он сел. На свободный стул, который оказался рядом с моим.

Среди своих он был другим. Не мягче, но проще: он ел пирог руками, спорил с тётей о том, сколько лет яблоне у веранды, и один раз, когда она сказала «нынче», передразнил её так похоже, что кто-то на том конце стола поперхнулся чаем. Она погрозила ему ложкой. Это было так по-домашнему, что я на минуту забыла, зачем я здесь, и тут же разозлилась на себя за это.

Девочка из Костромы спросила про Глухаря: правда ли, что ему пятьсот лет.

— Тысяча пятьсот восьмой год, — кивнула Ирина Павловна. — Так в летописце, так и на табличке у пристани.

— И в Описи, — сказал Мирон с набитым ртом. — Опись колоколов уезда, девятьсот девятого года. Там все надписи с колоколов переписаны. Единственный уцелевший в уезде экземпляр — у нас, в Литейке, выдают только в читальный зал. Дед над ней трясся.

Где-то в прихожей снова хлопнула дверь, и в проёме гостиной возник Кирсанов, запыхавшийся, в кардигане и с трубкой, которую он, видимо, не успел спрятать в карман.

— Ирина Павловна, душа моя, прошу прощения, я на минуту, я принёс вам бумаги для фонда. — Он оглядел стол. — О, пирог. О, первый курс. Голубчики мои, какая встреча, а мы с вами в среду только о хвостах «з» беседовали.

Ему налили чаю. Он сел на край дивана, и тут мальчик с гитарой спросил Мирона, дают ли Опись первокурсникам. Кирсанов, ставя чашку, промахнулся мимо блюдца, так что чай выплеснулся на скатерть. Он ахнул, засуетился, стал промокать пятно салфеткой и смеяться над собой, и Ирина Павловна сказала: «Герман, оставь, это скатерть, а не рукопись», и все опять смеялись. Я тоже смеялась. И только потом, уже вечером, вспомнила, что промахнулся он сразу после слова «Опись».

— Герман Ильич, а правда, что в замыку вы читаете лекции про утопленные города? — спросил кто-то из девочек.

— В ледостав, голубушка, я буду читать лекции про всё, что вы пожелаете, — сказал Кирсанов, — лишь бы вы их слушали. А ледостав у нас в этом году обещают ранний.

Перед тем как отпустить нас, Ирина Павловна повела всех наверх, в кабинет отца. Его оставили таким, каким он был при Павле Андреевиче: письменный стол под зелёным сукном, лампа с латунным абажуром, на стене карта уездного Звонецка 1898 года, где у каждого дома была подписана фамилия хозяина. Книги на стеллажах стояли в три ряда, а на верху старого шкафа громоздились тёмные деревянные короба с медными уголками, похожие на маленькие сундуки.

— Короба для литейных форм, — сказала Ирина Павловна, когда девочка из Костромы спросила. — В них хранили формы для мелких колокольчиков, их тут отливали на продажу.

Отец купил этот дом вместе с коробами у старика, который уезжал в Брод. Выбросить рука не поднимается.

Над столом висела фотография в простой рамке. Октябрь девяносто седьмого, вода после прошлогодней засухи так и не поднялась, колокольня стоит на обнажённом цоколе, и у её подножия по колено в иле двое мужчин держат между собой тёмный ящик. Высокий седой улыбался в объектив, как мальчишка, нашедший клад, и я поняла, что это и есть Павел Андреевич. Второй был молодой, худой, бородатый, в очках, с серьёзным, почти растерянным лицом, какое бывает у человека, которого сфотографировали не вовремя. Я не сразу узнала в нём Кирсанова.

— Германа Ильича отец вытащил из Петербурга, — сказала Ирина Павловна, проследив за моим взглядом. — Он приехал на месяц и остался на всю жизнь. У нас многие так.

Кирсанов, поднявшийся следом за нами, сказал из дверей, что борода была ошибкой молодости, а очки — ошибкой зрения.

Когда гости начали расходиться, я осталась помочь с чашками. Варя посмотрела на меня большими глазами из-за плеча ректора, но ничего не сказала и увела остальных. Мирон ушёл ещё раньше, не попрощавшись ни с кем, кроме тёти.

На кухне Ирина Павловна мыла чашки, а я вытирала. Кухня была маленькая, жаркая, с газовой плитой на баллоне и окном на воду. Из окна была видна дамба, вернее, та полоса ряби, которая отмечала её под водой, и колокольня, тёмная, с белым огоньком наверху. Отсюда она казалась ещё ближе, чем от сарая.

— Отец выбрал этот дом из-за вида, — сказала Ирина Павловна, перехватив мой взгляд. — Все говорили, что здесь дует, а он говорил: зато я вижу свой город. — Она протянула мне чашку с отбитой ручкой. — Я с юности не сплю до четырёх. Бессонница — семейное. Иногда сижу вот тут, у окна, с чаем, и смотрю на колокольню. Это лучше, чем считать овец.

Она домыла последнюю чашку, вытерла руки и повернулась ко мне.

— Я хотела сказать вам одну вещь, Анастасия, без свидетелей. Лида была светлой девочкой. Очень яркой. На моём семинаре она спорила со мной каждую неделю, и я каждую неделю радовалась, что есть с кем спорить. — Ирина Павловна помолчала. — Но в последние недели она очень устала. Это было видно всем. Она мало спала, много работала, была… взвинченной. Я не говорю вам ничего, кроме того, что видела. Иногда мы не знаем, что происходит с самыми близкими, и это не наша вина.

Я поставила чашку на полку.

— Она не сама, — сказала я. — Если вы об этом.

— Я ни о чём, голубчик. — Она мягко коснулась моего плеча. — Я только о том, что вам не нужно нести это одной. Я говорила, моя дверь открыта. Я это повторю ещё столько раз, сколько понадобится.

Я поблагодарила её и, проходя через прихожую, ещё раз посмотрела на фонарь на крюке. Всю дорогу через сад я спорила с ней про себя: она, наверное, права, только её правота мне не нужна.

Ночью я, как всегда, проснулась сама, за несколько минут до трёх. В двенадцать минут четвёртого включила голосовое и, пока Лида говорила мне в ухо «не пугайся, я на колокольне», подошла к окну. Дом на мысу был тёмный, кроме одного окна внизу — теперь я знала, что это кухня. Там горела настольная лампа, и в её круге сидела женщина с чашкой, лицом к воде. Колокол в наушнике бил свои неровные группы, а она сидела и смотрела на колокольню, где мигал белый огонёк, и не шевелилась.

Я стояла у окна и после того, как голосовое кончилось. На всём острове сейчас не спали, наверное, только мы двое, и обе смотрели в одну сторону, и я не знала, утешает меня это или пугает. В ночь, когда Лида звонила мне с колокольни, она, наверное, тоже сидела у этого окна. Спросить, что она тогда видела, я пока не решалась: ректору такие вопросы задают один раз.

Минут через двадцать она протянула руку и погасила лампу. Я посмеялась над собой: ещё неделя на острове, и я начну вести журнал чужой бессонницы.

В воскресенье я пошла на пристань звонить маме. Сеть на пристани ловила так, что можно было говорить, не вставая на цыпочки. Было солнечно и ветрено, по воде бежали короткие белые гребешки, и колокольня стояла в них, как камень в ручье.

Мама взяла трубку после первого гудка, как всегда.

— Ну? — сказала она. — Рассказывай.

Я рассказала про латынь, про пряник, про Варю и её семицветный шарф, про пирог у ректора. Про карточку не рассказала. Про сарай тоже. Мама слушала, иногда смеялась, и смех у неё был почти прежний, только чуть тоньше. За год лечения он вернулся не весь, и я каждый раз прислушивалась, какой его кусок сегодня на месте.

— Ась, — сказала она в конце. — Ты к воде не ходишь?

— Мам, тут везде вода. Это остров.

— Ты поняла, о чём я.

— Не хожу, — сказала я.

Мама помолчала. Я слышала, как у неё на кухне капает кран, который я обещала себе починить и так и не починила.

— Я тебе верю, — сказала мама. — Только ты береги себя. Ты у меня теперь одна.

Она отключилась первой, и я ещё долго сидела на краю пристани, держа телефон в обеих руках, как горячую кружку.

На столбе у сходни, под табличкой с Глухарём, висело расписание «Сокола», написанное от руки и заклеенное скотчем от дождя: по будням утром и вечером, в выходные по требованию, «до замыки». Ниже кто-то дописал маркером телефон МЧС, а другим почерком, крупно, «Гаврилов — звонить после шести, раньше не возьмёт». Я сфотографировала оба номера. На острове, где все свои, мне вдруг захотелось иметь в телефоне номера чужих.

У сходни возились двое. Тимофей Семёнович стоял по колено в воде в болотных сапогах и придерживал доску, а Мирон, сидя на корточках на пристани, прибивал её к поперечине. Гвозди он держал в зубах. Они работали молча, как люди, которые делали это много раз: Тимофей Семёнович подавал доску раньше, чем Мирон протягивал за ней руку. Мирон, видно, и вырос при этом старике и этих лодках, и тут его никто не звал племянником ректора.

Тимофей Семёнович увидел меня первым, кивнул и, будто вспомнив про какое-то срочное дело, побрёл по воде к катеру. Мирон выпрямился и вынул гвозди изо рта.

— Ремезова.

— Вы вчера ушли, не попрощавшись.

— Я ни с кем не прощаюсь. — Он вытер руки о штаны. — Это экономит время.

Мне захотелось его ударить и одновременно рассмеяться, потому что это были мои слова, и он вернул их мне, не изменив ни звука. Я села на край пристани рядом с ним, свесив ноги над водой.

— Ваша тётя говорит, что Лида была усталой, — сказала я. — Что в последние недели она мало спала. Это правда?

— Правда.

— Почему?

— Она что-то искала. — Мирон взял молоток, повертел его и положил. — Она мне не говорила что. Она говорила: «Скажу, когда буду уверена». Она всегда так говорила.

— Это я знаю. Она и мне так говорила.

Ветер трепал воду, белые гребешки разбивались о сваи пристани, и где-то на катере Тимофей Семёнович гремел ведром.

— Вы обещали рассказать, что знаете, — сказала я наконец. — Не здесь, вы сказали. Ну так вот, здесь никого нет. Тимофей Семёнович не слышит. Рассказывайте.

Мирон долго смотрел на колокольню. Ветер откидывал ему волосы со лба, и я наконец увидела его лицо целиком, без этой тёмной чёлки, за которой удобно прятаться. Оно было совсем молодое и очень усталое.

— В ту ночь колокол звал, — сказал он. — Меня. А я не пошёл.

# Глава 4. Тот, кого она звала

— Звал вас? — переспросила я. — Это она звонила?

— А кто ещё. — Мирон смотрел на колокольню, не на меня. — Ритуала в тот год не было, Ира его отменила. На колокольне была она одна.

Я подумала о голосовом. «Слушай, как он звучит», — говорит Лида, и потом больше минуты бьёт колокол, неровно, группами, с паузами, которые я давно знала наизусть, хотя ни разу не посчитала удары. Два года я была уверена, что сестра просто дала мне его послушать. Мне и в голову не приходило, что эти удары могли предназначаться кому-то другому.

— У нас был уговор, — сказал Мирон. — С моего первого курса. Она смеялась, что связь на острове ловит через раз, а колокол слышно везде. Если когда-нибудь ударит «приди», значит, это мне.

— «Приди» — это что?

— Сигнал. Пять букв звонарской азбукой.

— И как он звучит?

Он повернулся ко мне всем лицом.

— Это не для чужих, Ремезова.

Можно было достать телефон, включить запись и спросить: вот это — ваше «приди»? Я даже положила руку на карман куртки и тут же убрала. В телефоне лежали последние минута пятьдесят две секунды моей сестры, единственное, что от неё осталось живым, и давать их слушать человеку, который в ту ночь не пришёл, я не собиралась. «Связь через раз», а моё голосовое с колокольни дошло. Спросить его об этом значило рассказать о голосовом, и я промолчала.

— Вы слышали, — сказала я. — И не пошли. Почему?

— Решил, что это не она.

— А кто?

— Костя Ведерников. — Мирон подобрал с досок гвоздь и повертел его в пальцах. — Лёд в тот год был плохой, Ира запретила ритуал, и Костя весь ноябрь ходил злой, говорил, что Звонари не спрашивают разрешения у ректората. Я повернулся на другой бок.

— Вы только что сказали, что колокол звал вас.

— Звал. — Он кивнул. — «Приди» — наш с ней уговор. Но этот сигнал знает любой Звонарь, его дают кандидатам первым, на слух. Про наш уговор Костя знал и любил над ним пошутить. Я решил, что он дурит назло, и Ире, и нам.

— Вы решили, — сказала я. — Удобно.

Он не ответил, только положил гвоздь рядом с молотком, встал и пошёл к катеру, где Тимофей Семёнович всё ещё гремел ведром. На полпути обернулся.

— Я себе это говорю два года, — сказал он. — Тем же тоном. Так что вы не первая.

Я осталась на краю пристани и смотрела, как он перешагивает через борт. Сказать мне хотелось совсем другое: что он проспал её так же, как я. Что в ту ночь мы оба лежали в кроватях, он меньше чем в километре от неё, я в ста пятидесяти, и разница между нами была только в том, что он слышал. Вслух я этого не произнесла. Такие вещи, если их сказать, становятся общими, а делить с ним даже это я не хотела.

Ночью, когда пришло время, я включила голосовое и впервые не смогла слушать удары так, как слушала их два года. Раньше они были моими. Теперь я знала, что где-то в этих неровных группах спрятано чужое слово, которого мне не положено понимать, и что в последнюю минуту сестра говорила не только со мной. Я могла бы сосчитать удары и попробовать разложить их на буквы, но к этому я ещё не была готова. Я сняла наушники раньше конца, первый

раз за всё время, и лежала, глядя в потолок, пока мне не стало стыдно перед ней. Потом надела их снова и дослушала до шороха.

В понедельник началась учёба всерьёз, и я была ей благодарна, как бывают благодарны за смену, когда дома тяжело. Латынь стояла первой парой. Латинистка, маленькая сухая женщина с голосом, которым можно было резать бумагу, вызвала меня к доске, и я просклоняла шесть существительных из заданных двадцати, включая iter, у которого в родительном падеже вырастает целый лишний слог.

— Iter, itineris, — сказала я. — Путь становится длиннее, как только из него что-нибудь хотят взять.

Латинистка посмотрела на меня поверх журнала и сказала: «Садитесь, Ремезова, отлично» — тем же голосом, но в заднем ряду кто-то хмыкнул, и мне стало немного легче жить.

После пар я пошла в хозчасть. Варя ещё в первый вечер объяснила, что грантовым разрешают подрабатывать по нескольку часов в неделю: помогать в библиотеке, на кухне, на складе. Стипендии хватало на тетради и мыло, мама опять брала ночные смены, и мне хотелось хотя бы не просить у неё на дорогу домой. Завхоз, грузный, с карандашом за ухом, полистал свою амбарную книгу и спросил, боюсь ли я воды.

— Нет, — сказала я.

— По субботам Гаврилов возит из Брода продукты для столовой. Нужен человек со списком и с головой. Таскать тоже придётся.

— Я считаю лучше, чем таскаю.

— Это и нужно, — сказал он и вписал меня в книгу.

Во вторник вечером Варя потащила меня в студию. Я сопротивлялась до девяти без пяти, потом сдалась, потому что спорить с Варей было всё равно что спорить с весенним паводком. Студия репетировала «Вишнёвый сад» в Колокольном зале, на той самой сцене, где первого сентября говорила ректор. В зале горели только лампы над сценой и подсветка витрины с летописцем, и от этого казалось, что в темноте рядов кто-то сидит и смотрит.

— Ты будешь суфлёром, — объявила Варя, вручая мне распечатку с загнутыми углами. — Играть ты не хочешь, я по лицу вижу. А суфлёр — это власть без ответственности. Тебе понравится.

Мне понравилось. Я сидела в первом ряду с текстом на коленях и подсказывала шёпотом, а через полчаса уже не шёпотом, потому что Лопахин, высокий четверокурсник с басом, путал реплики второго акта с третьим. Мальчик с гитарой играл Епиходова. Гитара у него треснула в первую же неделю, точно как предсказала ректор, и Варя сказала, что такой реквизит за деньги не купишь и что «двадцать два несчастья» надо уметь носить с достоинством. Он носил. Когда в середине сцены у треснувшей гитары лопнула ещё и струна, мальчик посмотрел на неё с такой печалью, что Варя закричала из темноты: «Оставь! Это Чехов!» — и все смеялись так, что Лопахин сел на край сцены.

В одиннадцать мы шли через тёмную галерею в Пансион, и Варя, довольная, держала меня под руку.

— Ты подсказала ему ударение, — сказала она. — Он теперь будет тебя бояться всю жизнь.

— Я его спасла от позора.

— Это одно и то же, солнце. Ты придёшь в четверг?

Я сказала, что приду, и только у себя в комнате поняла, что за весь вечер ни разу не подумала про Лиду. Это меня испугало сильнее, чем всё остальное в эту неделю.

В четверг я пошла в библиотеку за словарём Дворецкого: свой латинско-русский я оставила в Ярославле, на полке над кроватью. Словарь нашёлся на третьей полке снизу. За стеллажом две второкурсницы перебирали карточки в каталожном ящике и разговаривали тем шёпотом, который слышно лучше крика.

— …а его ведь представили к отчислению, — говорила одна. — Ещё летом, я тебе точно говорю. С первого октября. Курсовую списал целиком, про надписи на колоколах.

— А ходит, как будто ему уже всё простили.

— Ему всегда всё прощают. Папа оплачивает.

— Списал, — сказали у меня за спиной.

Агния вышла из-за стеллажа со стопкой книг, прижатой к груди. Она была в длинном пальто, которое, кажется, вообще никогда не снимала, и гладкий чёрный хвост лежал у неё на плече, как у нарисованной.

— С чужой диссертации, почти целиком, — продолжила она, как зачитывают расписание. — До первого октября — комиссия. Ещё вопросы есть? Нет? Тогда напомню: здесь читальный зал. Для сплетен у нас столовая, там и акустика лучше.

Второкурсницы исчезли так быстро, что каталожный ящик остался выдвинутым. Агния задвинула его бедром и посмотрела на меня.

— Не делайте такое лицо, Ремезова. Он мой парень, а не мой подзащитный.

Она ушла, а я стояла с Дворецким в руках. Костю Ведерникова летом представили к отчислению, а в первую среду сентября он за обедом вёл себя как человек, у которого в кармане лежит ключ от всех дверей. Тогда я решила, что это просто характер. Сейчас мне так уже не казалось, но спросить было не у кого.

«Сокол» ушёл в Брод в субботу, в семь утра. Тимофей Семёнович стоял у штурвала в той же брезентовой куртке, а я сидела на ящике у борта со списком поварихи, который начинался словом «мука» и кончался словом «лавровый», а посередине имел два пункта, написанных так, что прочесть их можно было только чутьём. Над водой лежал туман, низкий и плотный, и колокольня торчала из него одной верхушкой, без основания.

Брод оказался посёлком из двух длинных улиц, сбегавших к воде, с почтой, школой, автостанцией и магазинами, каждый из которых назывался по хозяйке. В продуктовом у автостанции я разбирала с продавщицей список поварихи, и выяснилось, что неразборчивые пункты — это корица и сода: продавщица знала почерк. Пока она отвешивала гречку, в магазин вошли две старухи в одинаковых пуховых платках и встали за мной, разглядывая меня откровенно, как на рынке разглядывают рыбу.

— Островная, — сказала одна другой. — Гаврилова девка.

— Не моя, — сказал Тимофей Семёнович, внося мешок с сахаром. — Академии.

— Все они академии, — согласилась старуха и повернулась ко мне. — А мы звонецкие. Со Звонца. Нас в сорок пятом выселили, мне три года было. Мамка корову вела, а я на корове ехала. Так и переехали.

Она рассказала это так, будто речь шла о вчерашней ярмарке, и ушла с батоном, а я до самой пристани пыталась представить, как это: проснуться в одном городе, а уснуть в другом, потому что первый скоро уйдёт под воду.

Обратно «Сокол» шёл тяжело, гружённый до бортов. Туман поднялся, и колокольня встала из воды вся, тёмная, с белым огоньком наверху, который днём казался просто бледной точкой. Тимофей Семёнович курил, пряча сигарету в ладони от ветра, и долго молчал. Потом показал подбородком на воду правее колокольни, где рябь шла косо, против остальной.

— Вон, — сказал он. — Колено.

Я посмотрела туда, но ничего особенного не увидела: вода как вода, только рябь другого рисунка.

— Дамба там поворачивает, — объяснил он. — А сбоку старое русло. Течение, глубина. В середине октября, до замыки, я вешки ставлю. Пары, через двадцать метров, двадцать пар до самой колокольни. Лёд встанет — вешки вмерзают, по ним и ходят. Только у колена лёд врёт.

— Как это — врёт?

— А так. С виду такой же. А снизу его течение ест. — Он стряхнул пепел за борт. — Я ей говорил, Лиде твоей. Позапрошлой осенью. Она смеялась.

Я молчала: мне не хотелось его подталкивать, и я знала, что он скажет сам, если захочет.

— Восемнадцатого апреля нашёл, — сказал он наконец. — Лёд сошёл, я поехал дамбу смотреть, что за зиму унесло. Каждый год смотрю. Там на гребне мелко, по колено. Её к гребню и прибило. — Он помолчал и добавил без всякого перехода: — Сумки не было. Я потом всё лето в том месте кошкой по дну шарил. Не нашёл.

— Спасибо, — сказала я, и голос у меня получился чужой.

— За что спасибо, — проворчал он. — Не нашёл же.

Мы подходили к острову. Глухарь висел в своей арке, тёмный и неподвижный, и я спросила то, что хотела спросить с первого дня:

— Он правда звонит сам?

— Бывает, — сказал Тимофей Семёнович. — Перед ледоходом. Чай, лёд по стене бьёт, вот он и гудит. А люди говорят — к утопленнику. — Он выбросил окурок и взялся за штурвал обеими руками. — Люди много чего говорят. Ты таскай давай, считальщица.

Я таскала до обеда. Мешки с мукой оказались тяжелее, чем я думала, а сахар легче, и к концу у меня болели плечи. Повариха выдала мне за это пирожок с капустой и сказала, что соду я выбрала правильную.

Первое настоящее задание Кирсанов дал нам в среду: купчую второй половины шестнадцатого века, скоропись, ксерокопию с подлинника из какого-то ярославского архива. Транслитерировать, раскрыть сокращения, перевести, сдать к пятнице. Пары остались те, что вытянули из шапки в первый день, а вернувшегося из изолятора мальчика Кирсанов приписал третьим к соседям.

Вечером в общий чат курса, куда Мирон был добавлен как ассистент, пришло сообщение: «ремезова читальный зал литейки четверг после пар лист у меня». Без единой заглавной буквы и без точки. Человек, который правил наши работы до последней выносной буквы, писал так, будто за каждый знак препинания с него брали деньги.

Мирон ждал меня в четверг в дальнем углу читального зала под зелёной лампой. Ксерокопия лежала между нами, серая, с пятнами, и строки на ней бежали вправо, как бегут люди под дождём.

— Читайте, — сказал Мирон. — Я поправлю.

Я начала читать и споткнулась на третьей строке.

— «Се яз… продал есми… ошчину свою…» — Я нахмурилась. — Ошчину? Это что?

Мирон опустил голову, и плечи у него дрогнули. Секунду я думала, что он кашляет. Потом поняла, что он смеётся, беззвучно, в рукав свитера, как смеются на похоронах, когда нельзя.

— Трёхногое «т», — сказал он, отсмеявшись. — Похоже на «ш». На нём все первокурсники ломаются. Отчину, Ремезова. Вотчину, по-нашему. Ошчина была бы ругательством, которого ещё не придумали.

Я покраснела до ушей и разозлилась на себя за это. Лида рассказывала, что Мирон Батькович ни разу не засмеялся над её шутками, хотя она очень старалась. У меня получилось с первой ошибки, и я не знала, радоваться мне или обидеться за сестру.

Дальше пошло легче. Я привыкла к трёхногому «т», к выносным буквам, которые писец ставил над строкой ради экономии места, к титлам. Мирон оказался хорошим учителем: не подсказывал, пока я не застревала совсем, и не хвалил, когда я выбиралась сама, а только кивал. В последней строке перечислялись свидетели сделки, и он постучал карандашом по слову.

— «А на то послуси». Тут описка. Должно быть «послухи». Исправим?

— Не исправим, — сказала я. — Не описка. Вторая палатализация. «Послух» — «послуси», как «друг» — «друзи». Задненёбный перед «и» из дифтонга переходит в свистящий. Писец написал правильно, это мы отвыкли.

Мирон отложил карандаш и посмотрел на меня так, как смотрят на строку, которая оказалась труднее, чем казалась.

— Знаю, — сказал он. — Проверял, будете ли вы спорить с ассистентом.

— Буду.

— Хорошо. Lectio difficilior, — сказал он и, видя, что я жду, пояснил: — Из двух чтений в разных списках вернее то, что труднее. Писцы упрощают, а не наоборот. Если в рукописи странное слово, сначала думайте, что прав писец, а потом уже вы.

Я записала это на полях и подчеркнула. Телефон Мирона, лежавший экраном вниз, загудел. Он перевернул его, прочитал и поморщился.

— Ира, — сказал он вместо объяснения. — У неё в ванной течёт кран. Опять.

— А вы умеете?

— Прокладку поменять? Это не скоропись, Ремезова.

Я вспомнила мамин кран, который капал у неё на кухне под каждый наш разговор. До Ярославля было далеко, а катер ходил только до замыки. Мирон собрал карандаши в пенал, встал и уже у двери обернулся.

— Статью деда прочитали?

— Нет.

— Прочитайте. Полка основателя, у входа, сборник девяносто восьмого года.

Статью я прочитала в тот же вечер, на подоконнике в читальном зале, пока библиотекарша не начала выразительно гасить лампы. Павел Андреевич писал хорошо: сухо, точно, с выписками. Он приводил строки из писцовых книг и челобитных семнадцатого века, где посадских звали «звонецкими людьми», торг — «звонецким торгом», а пошлину — «звонецкой», и делал вывод, что книжное имя «Звонецк» жило у писцов задолго до указа, и вывод выглядел убедительно. Я закрыла сборник с ощущением, что вопрос решён, и это ощущение мне почему-то не понравилось.

В субботу я опять ездила в Брод, а вечером мы с Варей сидели в комнате. Варя вязала, я сидела на полу, спиной к кровати, и делала вид, что учу старославянские глаголы. Шарф у неё дошёл до второго синего круга, и она объявила, что это хороший знак, потому что синий — цвет греческого флага, а значит, мироздание в курсе.

— У тебя братья, — сказала я. — Трое. Какие они?

Варя опустила спицы.

— Громкие, — сказала она. — Старший женился и теперь громкий в другой квартире. Средний учится на химика и раз в семестр что-нибудь поджигает. Младшему двенадцать, и он думает, что я учусь в школе волшебников, а я его не разубеждаю. — Она засмеялась, потом посмотрела на меня внимательнее. — А почему ты спрашиваешь, солнце?

На подоконнике лежал телефон, и я, не глядя, знала, сколько на нём времени: без двадцати одиннадцать. До голосового оставалось четыре с половиной часа.

— Она мне звонила, — сказала я. — В ту ночь. С колокольни. В двенадцать минут четвёртого. А я спала. Телефон был на беззвучном, я пришла с работы и уснула прямо в одежде. Утром увидела голосовое. — Я взяла со стола ручку и положила обратно. — Я проспала, Варь.

Я сказала это вслух первый раз за два года. Следователю я тогда ответила «спала», а это другое слово. Маме и школьному психологу, к которому меня водили после похорон, не сказала ничего. Слова оказались короткими. Я думала, что они будут длиннее.

Варя отложила вязание, слезла с кровати и села рядом со мной на пол, прямо на ковёр, и обняла меня одной рукой, неловко, сбоку, как обнимают в автобусе.

— Ты была в одиннадцатом классе, — сказала она. — Ты спала ночью. Это не преступление, Асенька, это расписание.

Я кивнула: она была права, и это ничего не меняло. Мы посидели так молча. За окном было черно, только на мысу горел свет в кухне, и где-то далеко, на краю всего, мигал белый огонёк колокольни.

— Знаешь, что странно, — сказала вдруг Варя, не убирая руки. — Лида всегда ходила с тетрадью. Зелёная такая, общая, толстая, на обложке что-то нацарапано. В столовой с ней, на семинаре с ней, на лавочке в саду с ней. Все знали: если Лида что-то пишет, лучше не мешать. — Варя помолчала. — Когда комнату разбирали, тетрадь не нашли. Ни в комнате, ни в библиотеке, нигде.

# Глава 5. Азбука для колокола

В воскресенье я позвонила маме с пристани и спросила про тетрадь.

— Какую тетрадь? — переспросила мама, и по голосу я поняла, что она стоит у окна на кухне и держится за подоконник, как всегда, когда разговор заходит о Лиде.

— Зелёную. Общую, толстую. Лида с ней не расставалась. Здесь все её помнят.

Мама ответила не сразу, и я слышала, как у неё на кухне капает кран. Вещи Лиды отдали нам в декабре, в картонной коробке из-под микроволновки, перевязанной бечёвкой, и мама разбирала их полгода, по одной вещи в неделю, потому что больше не могла. Я помнила эту коробку наизусть: свитера, учебники, кружку с рыжим котом, фен, ноутбук, в котором не нашлось ни строчки про колокола, потому что всё важное Лида писала от руки, список подарков к Новому году с галочками. Тетради там не было, я это знала. Но мне нужно было услышать это от неё.

— Не было, Ась, — сказала мама. — Я бы запомнила. Я каждую вещь в руках держала.

— Я знаю, мам. Прости.

— Ты ищешь что-то? — Голос у неё стал осторожный, медсестринский, тот, которым она спрашивает больного, где болит. — Ты мне обещала, что не будешь.

— Я учусь, — сказала я. — Просто про неё тут все говорят. Хочется знать то, что знают они.

Это была почти правда. Мама сделала вид, что поверила, а я сделала вид, что не заметила, как она это сделала, и мы поговорили о погоде в Ярославле.

Назавтра я пошла к коменданту. Склад забытых вещей помещался в подвале Пансиона, рядом с котельной, и был похож на лавку старьёвщика, у которого кончилось терпение. Там лежали зонты, один лыжный ботинок без пары, клетка для хомяка, гитарный чехол, связка ключей неизвестно от чего и картонная коробка с надписью «2024–2025», которую комендант разрешил мне перебрать при нём.

— Тетради не забывают, — сказал он, глядя, как я перекладываю чужие шарфы. — Тетради выбрасывают.

— Эту не выбросили бы.

— Все так думают, — сказал он и выключил за нами свет.

Библиотекаршу я спросила во вторник. Она сидела за кафедрой в Литейке, вязала носок, кажется, тот же самый, что и в первую неделю, и слушала меня, не снимая с одного уха наушника.

— Ремезова, — сказала она, услышав фамилию, и посмотрела на меня по-другому. — Нет. Не сдавала. Я бы помнила, я всё помню, что сдают. Она у нас сидела каждый вечер в том углу, под второй лампой. Тетрадь всегда при ней была. А чтобы оставила — нет.

У кафедры стоял Кирсанов с папками под мышкой, ждал, пока библиотекарша запишет ему пшеничный крахмал для мастерской, и рассказывал, что прошлогодний клей сожрали мыши, «очень образованные мыши, голубушка, они предпочитают восемнадцатый век». Он кивнул мне, пожелал хорошего вечера и ушёл, а я ещё постояла у кафедры, глядя на угол под второй лампой, где теперь сидел незнакомый третьекурсник и спал на раскрытом словаре.

Тетради не было нигде. Её не было в коробке, на складе, в библиотеке, и все, кого я спрашивала, помнили её до цвета обложки. Вещь, которую помнят все и которой нет нигде, могла уйти под лёд вместе с красной сумкой, могла лежать там, куда её спрятала сама Лида, или её кто-то взял. Первое проверить было нельзя. Про второе и третье я думала каждую ночь после голосового.

В четверг на практикуме Кирсанов учил нас считать по-древнерусски. Он вошёл с табличкой в руке, которую, как выяснилось, нарисовал сам на картоне: копию той, что висела на столбе у пристани, «Глухарь. Отлит в 1508 году».

— Голубчики мои, наши предки не знали ни арабских цифр, ни Рождества Христова как точки отсчёта, — объявил он, ставя табличку на кафедру. — Они считали буквами и от сотворения мира. Задание: перевести этот год в их летоисчисление и записать так, как записал бы писец. Кто справится первым, получит пряник. У меня их ещё много, я запасливый.

Он объяснил правила за пять минут и двумя рисунками на доске. Буква с титлом над ней — число: «аз» — один, «веди» — два, «добро» — четыре, «и» с точкой, десятеричное, — десять, «рцы» — сто. Тысячи обозначает крючок слева внизу, похожий на перечёркнутую палочку. От сотворения мира до Рождества Христова, по византийскому счёту, прошло пять тысяч пятьсот восемь лет. Я сложила 1508 и 5508 в уме, получилось 7016, и дальше всё было как в олимпиадной задаче, только с буквами вместо цифр. Семь тысяч — «земля» с крючком. Десять — «и» с точкой. Шесть — «зело», буква, похожая на латинскую «S».

Я уже почти написала ответ, когда остановилась.

— Герман Ильич, а шестнадцать пишется «десять-шесть» или «шесть-десять»?

Кирсанов просиял и снял очки, чтобы рассмотреть меня получше.

— Вот! Вот вопрос, за который я с прошлого века ставлю пятёрки. А вы как думаете, Ремезова?

— Шесть-десять, — сказала я. — Мы же говорим «шестнадцать», то есть «шесть на десяти». Значит, сначала единицы, потом десяток. От одиннадцати до девятнадцати единицы идут впереди, как в речи.

— Ах, — сказал Кирсанов и приложил руку к сердцу. — Ах, вы меня балуете. Пряник Ремезовой. Остальным — утешение: девять из десяти первокурсников пишут наоборот, и я им каждый год подчёркиваю это на полях. — Он помолчал и добавил, хитро прищурившись: — А теперь подвох. Если колокол отлили, скажем, в октябре, какой это был год от сотворения мира?

Над этим мы думали дольше. Мирон ходил между партами с журналом и ничего не подсказывал, только у моей остановился и посмотрел в мой листок так, что я сразу поняла: где-то ошибка. Я нашла её сама. Новый год на Руси до Петра встречали первого сентября, поэтому осенние месяцы уже относились к следующему году, и к ним надо было прибавлять не пять тысяч пятьсот восемь, а пять тысяч пятьсот девять.

— Верно, — сказал Кирсанов, когда я ответила. — Хотя лить колокол осенью — дело неблагодарное, а в ледостав его тут и вовсе не отольёшь. — Он засмеялся. — У местных, кстати, это не ледостав, у них это «замыка». Красивое слово, тёмное, как будто дверь на ключ запирают. А я, голубчики, тридцать лет здесь живу и всё не привыкну. Ледостав и ледостав. Петербург из меня не вымывается.

Работы он проверил к концу пары. На полях моей, рядом с правильным ответом, синими чернилами стояло: «Блестяще. Не зазнавайтесь». Обе «з» в последнем слове были с длинными хвостами, закрученными влево под строку, и я, улыбнувшись, вспомнила про руку, которая прилипла.

После пары меня поймали в коридоре.

Костю я узнала по голосу раньше, чем обернулась. Он стоял у окна, светлый, в дорогой куртке нараспашку, и с ним была Агния, прямая, как указка, в своём длинном пальто.

— Ремезова, — сказал Костя. — Есть минутка? Окей, вижу, что нет, но всё равно. Звонари берут кандидатов. Раз в год, по приглашению, никаких анкет. Мы хотим пригласить вас.

— Ты хочешь, — сказала Агния, не глядя на меня. — Я против.

— Агния против всего, что моложе двадцати, — это её личный вайб. — Костя улыбнулся мне так, словно мы с ним давно вместе над ней посмеиваемся. — Вообще-то первокурсников мы не берём. Но вы же у нас не совсем первокурсница, правда? Вы с историей.

— С какой историей?

— Сестричка тоже хотела, — сказал он между делом. — Не успела.

Я сжала в карманах похолодевшие руки. Мимо нас по коридору шёл Мирон с журналом под мышкой, и Костя его окликнул:

— Ланской! Скажи ей.

Мирон остановился и посмотрел на Костю, на Агнию, потом на меня, как смотрят на непонятное слово в рукописи.

— Я за, — сказал он и пошёл дальше.

Я смотрела Мирону в спину и не могла сложить это «за» с карточкой «Уѣзжай», которая лежала у меня в паспорте.

Агния подняла брови, а Костя развёл руками: вопрос решился сам.

— Двое за, одна против. Демократия. Суббота, восемь вечера, мансарда Старого корпуса. Лестница за дверью с табличкой «Посторонним вход воспрещён». Посторонним, — он подмигнул, — это не вам.

Я согласилась и согласилась бы, даже если бы меня звали в мансарду чистить трубы. Тогда, на пристани, Мирон сказал, что этот сигнал дают кандидатам первым, на слух. Я хотела его услышать. Остальное значения не имело.

Вечером Варя, узнав, всплеснула руками так, что с её спиц слетело три петли.

— Солнце, они снобы! Они пьют чай из блюдечек и говорят «намедни»! Ты там умрёшь со скуки. — Она подхватила петли и вдруг сказала серьёзно: — Или не со скуки. Ты будь осторожна, ладно? Ведерников тебя не просто так зовёт.

— Я знаю, — сказала я.

— Ничего ты не знаешь. Ты думаешь, что знаешь. Это хуже, — сказала Варя и снова взялась за спицы.

В субботу утром на «Соколе» было три пассажира: я со списком поварихи, мешок пустых бидонов и Кирсанов. Он ехал на почту в Брод, сидел на скамье у самой рубки, держался обеими руками за поручень и был бледен до синевы. На каждом крене он закрывал глаза. Когда мы отошли от пристани и колокольня осталась у нас за кормой, он открыл один глаз и посмотрел на меня.

— Не смотрите на меня, Ремезова, — сказал он. — Это позорное зрелище. Филолог, тридцать лет на острове, и боится воды. Я и плавать-то не умею. В Петербурге, голубушка, вода в граните, она знает своё место. А здесь она везде.

— Герман Ильич только со мной и ездит, — сказал Тимофей Семёнович из рубки, не оборачиваясь. — С другими, говорит, утону.

— С вами тоже утону, Тимофей Семёнович, но хотя бы в хорошей компании.

Кирсанов сошёл на пристани в Броде первым, почти бегом, и ушёл к почте, держа портфель у груди. Тимофей Семёнович проводил его взглядом и покачал головой.

— Хороший мужик. А воды боится.

На обратном пути я спросила, кто зажигает белый огонь на колокольне.

— Ирина Пална. Путейцы его бросили, когда фарватер ушёл, а Павел Андреич свой поставил, для рыбаков. Весной она зажигает, перед замыкой гасит. Панелька там солнечная, аккумулятор в ящике. — Он пожал плечами. — Отцовская, говорит, обязанность. Мне меньше заботы.

Вечером в восемь я стояла у двери с табличкой «Посторонним вход воспрещён». За ней оказалась узкая деревянная лестница, крутая, как корабельный трап, и она скрипела на каждой ступеньке так, что подниматься тайно по ней было невозможно. Я была на середине, когда сверху ударил колокол, негромко и глухо, через войлок. Удары посыпались короткими горстями, быстро, привычной рукой, как стучит телеграфист. Я попыталась сосчитать, как считаю всё, сбилась на второй горсти и остановилась.

— Не бойтесь! — крикнул сверху Костя. — Это звонок у нас говорящий. Кто-нибудь идёт, дежурный объявляет. Три буквы — и ясно кто. Поднимайтесь, вас уже объявили.

Мансарда была длинной, во всю крышу Старого корпуса, с косыми стенами и тёмными балками, на которых висели связки сухой мяты, гирлянда из маленьких лампочек и чьи-то старые куртки на гвоздях. Пахло деревом, чаем и почему-то воском. Посередине, на дубовой перекладине, висел колокол, небольшой, с ведро, позеленевший, с языком, обмотанным серым войлоком. Под языком на верёвке висел тёмный дубовый шар, гладкий от рук, и я не сразу поняла, что это противовес. У круглого окна в торце, на треноге, стояла латунная подзорная труба, направленная на воду. В открытом сундуке у стены лежала книга в кожаном переплёте, толстая, с медными уголками, и никто к ней не прикасался.

— Звонок, — представил Костя колокол, как представляют старого родственника. — Пуд с небольшим. Нас он учит, а мы его терпим. Книга Звонарей — её не трогать, на ночь она под замком, вам её покажут после замыки, если доживёте. Шучу. Труба — смотреть на колокольню. Чай — пить. Всё, что сказано в мансарде, остаётся в мансарде. Вопросы?

Вопросов было много, и я не задала ни одного. Один я не задала даже себе, хотя он весь вечер стоял рядом: если здешний колокол говорит буквами, то что говорил Глухарь в моём голосовом? Я два года не считала Лидины удары и не хотела начинать по чужой подсказке. Кроме меня, кандидатов было двое: второкурсник и второкурсница с одинаково испуганными лицами. Звонарей было семеро: трое четверокурсников, которых я видела в столовой за Костиным столом, Агния, ещё одна девушка с третьего курса, Костя и Мирон. Мирон сидел в углу на ящике и возился с камертоном, ударяя его о колено и поднося к уху, и на нас не смотрел.

Чай действительно пили из блюдечек. Варя оказалась права наполовину: Звонари были снобами, но скучно с ними не было. Они спорили о том, звонил ли Глухарь в 1941 году, когда первые дома посада начали уходить под воду, и спор шёл на трёх языках, с цитатами. Один из четверокурсников показал мне записку, которой они назначали встречи: «Въ субботу въ восемь часовъ. Хлѣбъ общій, чай свой» — с ятями и твёрдыми знаками на концах, аккуратную, как в гимназии.

— Это не позёрство, — сказала Агния, заметив, как я на неё смотрю. Это были её первые слова мне за вечер. — Это тренировка. Кто пишет с ятями, тот медленнее думает о глупостях.

Костя сидел ближе всех ко мне. Телефон лежал перед ним экраном вверх, и в углу экрана горела красная точка диктофона.

— Всё ещё всё пишешь? — спросила я. Звонарское «вы» я ему возвращать не собиралась.

— Всё, — охотно согласился он. — Привычка. Потом слушаю, кто что сказал. Люди удивительно много говорят, когда думают, что их никто не слушает. — Он отпил из блюдечка и сказал, не меняя тона: — Ваша сестра поднималась к нам однажды. Посидела вот на этом самом месте и сказала, что у нас пахнет нафталином и снобизмом. Она к нам хотела, а мы тянули с приглашением. Зря, наверное.

Он смотрел на меня внимательно и весело, и я не могла понять, проверяет он меня или просто ему нравится смотреть, как я держу лицо, а я держала. Через полчаса Агния встала, сказала, что ей завтра рано, и ушла, кивнув одному Мирону. Когда мы расходились, Костя придержал меня у лестницы.

— Через неделю посвящение, Ремезова. Не опаздывайте. И знаете что? — Он улыбнулся. — Если вдруг у вас остались какие-нибудь Лидины бумажки, записки, что угодно, приносите. У нас тут архив. Мы её помним.

Я сказала, что ничего не осталось. Всю дорогу вниз по скрипучей лестнице я гадала, зачем ему её бумажки.

Первого октября Костю должны были отчислить. Об этом знал весь остров, и в обед вся столовая поглядывала на его стол, как на табло с задержанным рейсом. Он пришёл позже всех,

весёлый, с мокрыми от дождя волосами, сел на своё место и постучал ложкой по стакану с компотом.

— Дамы и господа, объявление для тех, кто делал ставки, — сказал он на весь зал. — Приказ о моём отчислении приостановлен до повторной экспертизы. Так что компот мой папа будет оплачивать ещё как минимум месяц. Наслаждайтесь.

За грантовыми столами кто-то засмеялся, кто-то вполголоса съязвил. Агния, сидевшая рядом с ним, не подняла глаз от тарелки. Она была бледная, и я вдруг поняла, что она не радуется. Сидела она так, будто ей прочитали диагноз, и резала котлету на всё более мелкие куски.

— Повторная экспертиза, — сказала Варя, ковыряя котлету. — Это значит, кто-то за него попросил. У нас так не бывает. За мальчика из Самары, который у самого себя списал введение, никто не просил, и он теперь учится в Самаре.

— А кто подписывает такие приказы?

— Учебная часть, наверное, или ректорат. Не знаю, солнце, я в приказы не заглядываю. Мне хватает греческого.

Греческого ей действительно хватало. Ночью, проснувшись перед голосовым, я увидела, что Варя сидит в постели с фонариком над учебником и шёпотом спрягает аорист, едва шевеля губами. Утром она призналась, что коллоквиум через две недели, что по греческому у неё «удовлетворительно с минусом, если преподаватель в духе» и что второй раз на второй год её не оставят, а без гранта ей останется только вернуться в Казань и вязать шарфы на продажу. Сказала она это смешно, но спицы в тот день так и не достала. Вечером я гоняла её по глаголам. Греческого я не знала, зато знала, как учат чужие окончания: их надо не зубрить, а раскладывать по полкам, как кассир раскладывает сдачу, и через час Варя проспрягала «дидоми» в аористе с одной ошибкой вместо девяти и бросила в меня подушкой от счастья.

Посвящение назначили на полночь с субботы, третьего октября, на воскресенье. Остров спал, в Пансионе погасли окна, и только в мансарде горели гирлянда и одна свеча на подоконнике у трубы. Нас, троих кандидатов, поставили в круг под Звонком. Костя прочитал что-то торжественное и длинное с дореформенными окончаниями, Звонари ответили хором, и это было бы смешно, если бы не было так тихо вокруг, во всём доме и над водой.

Потом Костя кивнул Мирону, и тот подошёл ко мне.

— Каждому кандидату показывают, как держать язык, — сказал он. — Кто-нибудь из старших. Вам — я.

Он взял мою руку и положил на верёвку, привязанную к языку колокола. Его пальцы были сухие и шершавые от верёвок, и он держал мою ладонь своей не дольше, чем нужно, чтобы показать хват.

— Не тяните к себе. Отпускайте. Колокол звонит сам, вы ему только напоминаете. Звон должен прийти в грудь, а не в уши. — Он отступил на шаг. — Пробуйте.

Я потянула, войлок смягчил удар, но всё равно звук прошёл через пол, через подошвы, вверх по рёбрам, и я почувствовала его грудью, как он и обещал. Второй удар вышел лучше. Мирон кивнул и на секунду перестал хмуриться.

— Теперь главное, — сказал Костя из круга. — Первый сигнал, который кандидат получает на слух. Без книги, без бумаги, только ухом. Его надо запомнить так, чтобы узнать во сне. Ланской, давай.

Мирон взялся за верёвку. Посмотрел на меня, коротко, и я не смогла понять, что было в этом взгляде, предупреждение или извинение. Потом он ударил.

Он ударил несколько раз подряд, замолчал на короткий вдох, ударил снова, и я перестала слышать скрип балок и чужое дыхание в круге.

Удары шли группами, неровно, как будто кто-то неуверенно стучит в дверь, замолкает и стучит опять.

Паузы были то короткие, то длиннее, и каждую я узнавала раньше, чем она кончалась.

Мне не нужно было считать. Я два года слушала эти удары почти каждую ночь, в наушниках, под одеялом, а иногда и днём, в автобусе по дороге на смену, и знала каждую паузу между ними так, как знают изгиб собственного почерка. Это было начало. Первые удары после Лидиного «Слушай, как он звучит», только без ветра, без её дыхания и через войлок.

Это было «приди».

# Глава 6. Охранная грамота

В Пансион я вернулась в половине второго, по пожарной лестнице, как ходили все Звонари, и до трёх сидела на подоконнике в куртке, не раздеваясь. Варя спала в маске и берушах. Затон был чёрный, на мысу горело кухонное окно, на колокольне мигал белый огонёк, и я смотрела на него, пока не заболели глаза.

Два года я не считала удары, потому что считать значило превратить Лиду в цифры. Теперь я знала, что в этих ударах есть слова, и слова были не мне. Оставить их несосчитанными значило бы нарочно ничего не делать, а этого я себе позволить уже не могла.

Когда пришло время голосового, я включила его, положила на колени тетрадь по латыни и стала писать. Лида сказала своё «слушай, как он звучит», и я записала первую группу: четыре удара, короткая пауза, два. Потом один и шесть. Потом пять и два, шесть и один, снова пять и два. Потом шла долгая пауза, в которой было слышно ветер, Лидино дыхание и скрип доски, и я впервые заметила, что дыхание в этой паузе другое, частое, как после бега. Потом ещё три группы: один и два, один и пять, четыре и четыре. Шорох, скрежет, тишина.

Я прослушала запись ещё дважды, проверяя каждую цифру. Цифры не изменились. Они стояли на полях латинской тетради, между склонениями, восемь пар, и в них не было ничего страшного. Это были просто цифры, и от этого мне стало хуже.

Первые пять пар я знала. Это было «приди», которое этой ночью отбил Мирон в мансарде: пять букв, по два числа на букву. Значит, первое число — ряд, второе — место в ряду, а вся азбука — квадрат, в котором каждая буква сидит в своей клетке. В олимпиадных сборниках такие квадраты называют квадратами Полибия и дают в задачах для разминки. Самое большое число у меня было шесть, и в рядах, и в местах, значит, квадрат шесть на шесть: тридцать шесть клеток, тридцать три буквы и три пустые.

По «приди» я знала четыре клетки. «П» стояла в четвёртом ряду на втором месте, «Р» — в первом ряду на шестом, «И» — в пятом на втором, «Д» — в шестом на первом. Обе «И» в слове совпадали, и это значило, что я не ошиблась в счёте. Оставалось понять, как в квадрат расставлены остальные буквы.

Обычно в такие квадраты сначала пишут ключевое слово, а потом весь остальной алфавит по порядку. Первым ключом, который пришёл мне в голову, было имя колокола, и я выписала его в первую строку, по букве в клетку. «Р» встала на шестое место, туда же, куда её поставила Лида, и карандаш у меня в руке остановился. Я дописала мягкий знак и остальной алфавит по порядку. «Д» вышла во втором ряду. «И» — в третьем, «П» — в четвёртом, но не на том месте. Ничего, кроме «Р», не совпало.

Тогда я попробовала другие ключи: «Звонарь», «колокол», «Звонец», «Остров», даже «приди». К половине пятого поля латинской тетради были исписаны квадратами, и ни один не давал больше одной буквы из четырёх. «Р» на шестое место ставил и «Звонарь»: это было совпадение суффикса, а не ключа, и я вычеркнула «Глухаря» вместе с ним. Других порядков, кроме алфавитного, я в ту ночь не пробовала. В задачах для разминки остаток всегда шёл по порядку, и в пятом часу утра моя голова ехала по этой колее, как трамвай.

Последние три пары я обвела карандашом и читать не стала. Квадрат, который врёт в трёх буквах из четырёх, превратил бы их в любое слово, какое мне захочется, а мне в ту ночь хотелось слишком многого. Три буквы после долгой паузы, в которую сестра часто дышала. Без квадрата они ничего не значили, а квадрат показывали только после замыки.

Я легла, когда за окном начало сереть. Лида ударила кому-то «приди», а потом, отдышавшись, добавила ещё три буквы. Кому, если первое слово было Мирону? Тоже ему? Что можно сказать человеку тремя буквами в три часа ночи на колокольне посреди льда? «Три

буквы — и ясно кто», — объявил тогда Костя про звонок мансарды. Но звонок объявлял тех, кто поднимается по лестнице, а к Лиде ночью на колокольню подниматься было некому.

Во вторник был семинар у ректора. Ирина Павловна вела у первого курса введение в филологию, раз в неделю, в маленькой аудитории на третьем этаже, где из окна было видно только небо и верхушку липы. В тот день она принесла «Слово о полку Игореве» и спросила, кто из нас считает его подделкой.

Подняли руки трое. Я не подняла, потому что не знала, и Ирина Павловна это заметила.

— Анастасия не голосует, — сказала она с удовольствием. — Это самая честная позиция в аудитории. Рукопись сгорела в двенадцатом году, голубчики, в московском пожаре, и двести лет умные люди спорили, не сочинил ли её кто-нибудь в восемнадцатом веке. Доказывали и так и этак, по истории, по стилю, по вкусу. А потом пришёл лингвист и проверил грамматику. Мелочи, которых в восемнадцатом веке не знал никто, даже лучшие учёные: как ставили маленькие безударные словечки, где писец путал буквы и почему. И оказалось, что подделыватель должен был знать то, что открыли только в двадцатом веке. Значит, не подделка.

— А если бы оказалось наоборот? — спросила я. — Если бы нашлось слово, которого в то время не могло быть?

Ирина Павловна посмотрела на меня поверх очков на цепочке, которые она наконец надела, и улыбнулась.

— Тогда, голубчик, у нас была бы сенсация, три диссертации и одна очень несчастная кафедра. — Она сняла очки. — Но запомните главное: текст выдаёт себя тем, чего в нём быть не могло. Ищите невозможное. Ваша сестра, кстати, спорила со мной об этом весь первый курс. Она верила руке, я — языку.

— Кто был прав?

— Мы обе, — сказала Ирина Павловна. — Это и есть филология.

Она перешла к домашнему заданию, а я записала на полях: «Искать невозможное». И подчеркнула двумя чертами.

Потом зарядили дожди. В Литейке включили отопление, и по утрам из подвала пахло горячей пылью. Кирсанов устроил первую контрольную по палеографии: три отрывка из трёх веков, и в каждом по ловушке. Я нашла все три и получила на полях ещё одно «Блестяще», на этот раз без «не зазнавайтесь», что я сочла личной победой.

На практикумах мы с Мироном теперь работали без войны. Не дружно, но спокойно, как работают два человека, которые оба знают, что такое скоропись, и обоим некогда. Однажды, когда Кирсанов ушёл за чаем и мы остались одни над грамотой, полной выносных букв, Мирон спросил, как я попала на олимпиаду.

— Случайно, — сказала я. — В девятом классе учительница русского положила мне на парту задачу про язык, которого я не знала. Там было двенадцать фраз на каком-то языке Новой Гвинеи и их перевод, и надо было перевести ещё пять. Я решала её на трёх уроках подряд и на перемене. Учительница сказала, что так нельзя, а потом записала меня на школьный тур.

— Перевела?

— Все пять. В одной ошиблась, потому что не поверила, что у них нет слова «зелёный».

Он хмыкнул, и мне это понравилось больше, чем следовало.

— А вы? — спросила я. — Как вы попали на колокольню?

Он долго молчал, вписывая над строкой выносную «т».

— Мне было тринадцать. Я тогда год ни с кем не разговаривал, — сказал он наконец, глядя в грамоту. — Тимофей Семёнович взял меня на лодку и ничего не спрашивал. Мы плыли к колокольне, он привязал лодку к арке, мы поднялись, и он дал мне верёвку от Глухаря. Сказал: «Бей. Он треснутый, ему не повредит». Я ударил. Потом ещё. Потом мы сидели в ярусе до темноты, и он курил. Так и пошло.

Я знала от Вари, что его родители погибли зимой, когда ему было одиннадцать. Я ничего не сказала и стала переписывать за ним строку, чтобы было куда смотреть. Кирсанов вернулся с подносом, и мы снова склонились над грамотой. Про Лиду в тот раз никто из нас не сказал ни слова, и это было почти как перемирие.

В середине октября Варя пришла с коллоквиума по греческому, села на кровать и не достала вязание. Я сразу поняла, что плохо, потому что шарф лежал в корзине нетронутый до самого вечера.

— Неуд, — сказала она наконец. — Пересдача в декабре. Если не сдам, на комиссию, и тогда до свидания, грант. Я там на аористе сказала такое, что преподаватель молча закрыл журнал.

— Пересдашь, — сказала я. — У нас ещё месяц аориста.

— У нас месяц замыки, солнце. В замыку все сидят по углам и пишут стихи, а я буду сидеть и писать аорист. — Она вытерла нос рукавом и всё-таки достала спицы. — Ладно. Синий круг ещё не кончился. Договор с мирозданием в силе.

Семнадцатого октября, в субботу, вместо рейса в Брод Тимофей Семёнович взял меня ставить вешки. Утро было тихое, серое, без ветра, и вода у южного мыса лежала гладкая, без единой морщинки. В лодке, кроме нас, лежали двадцать с лишним пар еловых жердей, ошкуренных, с пучками хвои на макушках, и тяжёлый деревянный молоток.

— Считай, — сказал Тимофей Семёнович. — Ты считальщица.

Он вёл лодку вдоль гребня, который просвечивал под водой тёмной мощёной полосой, и через каждые двадцать метров останавливался и вбивал по жерди с каждой стороны, в железные скобы, вмурованные между камнями. Скобы темнели под водой через равные промежутки, рыжие от ржавчины.

— Метки, — объяснил он, перехватив мой взгляд. — Ещё мой отец ставил. Вешки каждый год в одни и те же скобы идут. Так вернее. Лёд сойдёт — скобы останутся.

Я считала вслух. На двенадцатой паре гребень стал поворачивать, лодка пошла по дуге, и вода справа от нас вдруг потемнела, будто под ней открылась яма.

— Колено, — сказал Тимофей Семёнович. — Справа русло. Тут у колена лёд врёт, запомни. Сверху такой же, а снизу его течение ест.

Он вбил тринадцатую пару и долго смотрел на воду справа, потом сплюнул за борт и поехал дальше, к колокольне. Двадцатую пару мы поставили у самого её цоколя, под аркой, из которой свисала ржавая железная лестница. Колокольня нависала над нами, огромная вблизи, в рыжих потёках, и из верхнего яруса, из-за края арки, выглядывал бок Глухаря.

— Двадцать, — сказала я.

— Двадцать, — согласился он. — Теперь до весны. Лёд встанет, вешки вмёрзнут, по ним и ходят. Кто ходит, — добавил он и посмотрел на меня из-под кепки. — Ты не ходи.

На обратном пути вешки стояли за нами двумя тёмными рядами, как ограда вдоль невидимой дороги, и в одном месте ограда поворачивала. Отсюда, с воды, было видно, как близко колено к берегу. Двести пятьдесят метров. Я прошла бы их минут за пять.

В двадцатых числах октября Костя начал разговаривать со мной в мансарде по-приятельски. Он садился рядом, наливал мне чай раньше, чем другим, рассказывал анекдоты про Кирсанова, и всё это было бы приятно, если бы он хоть раз забыл про телефон с красной точкой в углу экрана.

В последнюю субботу октября кто-то из четверокурсников спросил его, как он выкрутился с отчислением. Костя потянулся, закинул руки за голову и улыбнулся в потолок.

— У меня, господа, охранная грамота, — сказал он. — Всё записано. Когда у тебя всё записано, с тобой разговаривают вежливо.

Все засмеялись, кроме Агнии. Она сидела у трубы, смотрела в окуляр на колокольню и не обернулась. Когда остальные разошлись к чайнику, Костя подсел ко мне ближе.

— Ремезова, а сестра вам писала что-нибудь про свою работу? — спросил он так, словно вспомнил между делом. — Тему, название, чьи-нибудь имена? Она тут перед смертью что-то копала, все знают. Мне просто интересно, что.

— Нет, — сказала я. — Она говорила, что расскажет, когда будет уверена.

Костя задержал на мне взгляд, и я увидела, что ответ его устроил, как врача устраивает анализ, который пришёл в норме.

— Жаль, — сказал он легко. — Интересная была девушка. Окей, пейте чай, остынет.

Я пила чай. Костя Ведерников знал про Лидину работу больше меня, и его охранная грамота, похоже, держалась на том, что она копала. Сейчас он проверил, знаю ли я то же, что и он, и успокоился: я не знала ничего. Мне захотелось вылить ему этот чай за шиворот, и я аккуратно поставила чашку на блюдце.

На лестнице меня догнала Агния. Она шла на две ступеньки выше, придерживая полы пальто, и заговорила, не поворачивая головы.

— Он записывает всех, Ремезова. Меня тоже. Он говорит, что для истории, а слушает потом по ночам, как другие слушают музыку. Не говорите при нём того, что не хотите однажды услышать в чужом исполнении.

— Зачем вы мне это говорите? Вы же против меня голосовали.

— Голосовала, — согласилась она. — Первокурсникам здесь нечего делать. Но это не значит, что я хочу, чтобы вас разобрали на цитаты. — Она остановилась у двери с табличкой и посмотрела на меня сверху вниз. — И не обольщайтесь насчёт чая. Первым он наливает тем, кто ему зачем-то нужен.

Она ушла по тёмной галерее, а я осталась у двери. Может быть, Агния вовсе не любит Костю. Или любит и именно поэтому знает про него больше всех.

Восьмого ноября, в воскресенье, я пошла на пристань звонить маме. По краю воды уже стояла тонкая ледяная кромка, прозрачная, с пузырьками воздуха внутри, и сходня по утрам была скользкой. Мама рассказала, что починила кран сама, по видео, и что гордится собой, и я тоже гордилась ею так, что пришлось отвернуться от второкурсников, куривших у столба.

Когда я убирала телефон, от колокольни донёсся звук мотора. У её цоколя стояла лодка, маленькая, белая, а наверху, в верхнем ярусе, двигалась фигура в тёмном. Через минуту белый огонёк, который мигал там каждую ночь с первого сентября, погас.

— Ректор, — сказал один из второкурсников за моей спиной. — Каждый год перед замыкой. Огонь гасит.

Я помнила, что говорил Тимофей Семёнович: «отцовская обязанность». Ждала, что лодка сразу пойдёт обратно, но фигура наверху осталась. Она стояла в арке, потом исчезла внутри, и больше никого не было видно. Второкурсники докурили и ушли. Я посмотрела на часы: прошло двадцать минут, потом тридцать. Холод пробирался под куртку, а лодка всё стояла у колокольни. Я не знала, сколько времени нужно, чтобы погасить навигационный огонь, но вряд ли сорок минут. Потом я подумала, что ей, наверное, нужно побыть там одной: с этой колокольни началось всё, что построил её отец, и, может быть, это было единственное место, где ей никто не говорил «Ирина Павловна».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.